

K/x

LE MESSENGER

ВЕСТНИК

РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО
ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

- На Евангелие о втором пришествии Христовом
- Православное Богословие в современном мире
- К размышлениям об интеллектуальной свободе
- «Двенадцать» — А. Блока
- Письмо А. И. Солженицыну
- Опять на Родине
к 50-летию смерти В. В. Розанова
- Преосв. Мануил Лемешевский

ПАРИЖ—НЬЮ-ИОРК

№ 94

TRIMESTRIEL

IV-1969

LE MESSENGER

périodique de l'Action Chrétienne des Etudiants Russes

Редакционная коллегия:

Франция: К. А. Ельчанинов, В. А. Водов, проф. прот. Алексей Князев,
И. В. Морозов, Н. А. Струве.

Америка: Архиеп. Сильвестр Монреальский и всея Канады, проф. прот.
Александр Шмеман, проф. прот. Иоанн Мейендорф, М. Гизетти, О. Раевская.

Секретарь Редакционной коллегии: И. В. Морозов.
91, rue Olivier de Serres, Paris 15°. Tél. : BLO. 53-66

ВЕСТНИК РСХД.

	Фр.
Подписная плата на 1970 год:	30,—
Отдельный номер	7,50
Двойной номер	15,—
С целью поддержки	50,—
Abonnement annuel	30,—

БИБЛИОТЕКА - ФОНД
"РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ"
Н. РАДИЩЕВСКАЯ Д. 2
инв. 656

Во Франции подписную плату просим вносить только на почтовый
счет РСХД:
C.C.P. Paris 2441-04. Action Chrétienne des Etudiants Russes,
91, rue Olivier de Serres, Paris-15°.

4 numéros par an. Abonnement annuel : 30 F. Prix du numéro : 7,50 F.
Prix du numéro double : 15 F.

Adresse de la Rédaction : Action Chrétienne des Etudiants Russes,
91, rue Olivier de Serres, Paris-15°. France.

Никита СТРУВЕ

1970 год

1970 год в русской истории и культуре — год значительных юбилеев. В Советской России уже разливается широким потоком литература восхваляющая, по случаю столетия со дня его рождения, вождя русской Революции, Владимира Ильича Ленина. Но этот юбилей не должен затмевать другие знаменательные даты: в этом году исполняется столетие со дня рождения И. А. Бунина, П. Б. Струве, Н. О. Лосского, пятидесятилетие со дня смерти Л. М. Лопатина и кн. Е. С. Трубецкого...

Однако, как бы ни были значительны вклады того или иного писателя, философа, общественного деятеля в русскую культуру, ни один из них не определил, подобно Ленину, хода русской истории.

Не следует скрывать от себя, Ленин остается в России для многих последним неоспоримым убежищем социалистических чаяний. Возможен возврат к сталинским методам (да и возврата не нужно, сталинский режим был смягчен, но не изменен); но реабилитация Сталина, как вождя социалистических сил, уже невозможна: разоблачения самой партии скомпрометировали его не только внутри страны, но и за границей. С Лениным обстоит иначе: разоблачение Сталина вызвало усиление Культа Ленина, его обеление. Зверства Сталина превзошли жестокость Ленина и заставили о ней забыть. Оспаривать «революционный гений» Ленина не приходится. Но выдвигать Ленина как сторонника свободы и законности, как это делают многие сейчас в России и не только из тактики, а вероятно по убеждениям — более чем сомнительно.

Мы не будем, в размере этой статьи, оценивать политическую и экономическую роль Ленина, хотя тут дело обстоит далеко не так благополучно как многим это мерещится. Ограничимся только тем планом, который нам дорог: свободы совести и слова.

И той и другой свободе (кстати, они нераздельны, и из них вытекают все прочие свободы), необходимой человеку как воздух, был положен конец в России не кем иным, как Лениным, причем с первых же месяцев Революции. Чтобы не быть голословным,

обратимся к бесспорному авторитету. В Записке о «Двенадцати», старательно урезанной цензурой, Александр Блок писал, что свобода слова продержалась всего каких-нибудь шесть месяцев после Революции. А позже, перед смертью, в своей пророческой Пушкинской речи, Блок констатировал, что в Ленинской России «поэту дышать нечем».

Со свободой совести, точнее с религиозной свободой, Ленин боролся со всем ожесточением своего иступленного безбожия. В Самиздате распространяется письмо В. И. Ленина к членам Политбюро от 19-го февраля 1922 г. с требованием «подавить сопротивление [духовенства] с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий» *). Убийство Петроградского митрополита Вениамина и его сотрудников показало, что Ленин хотел расправиться не с консервативными элементами в Церкви, а с наиболее народными и популярными.

Ленинский юбилей не будет слишком радостным: в Чехословакии весна подавлена танками, в Восточной Германии вынуждены выключать электричество, чтобы справиться с вопросом топлива, в России исчезают последние признаки оттепели, магазины лишены самого необходимого... Многим еще кажется, что дело Ленина было искажено его неопытными последователями. Однако не следует прятаться от горькой правды: свобода была убита Лениным, сталинизм лишь развитие этого свободоубийства.

Без свободы — нет самостояния человека. Но не только. По меткому слову Льва Шестова: «Где нет свободы, нет и хлеба».

*) Хроника текущих событий, 4—1969. Все 10 номеров Хроники изданы в специальном выпуске Посевом.

Св. Григорий ПАЛАМА (1296 - 1359)

НА ЕВАНГЕЛИЕ О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ХРИСТОВОМ; И О МИЛОСЕРДИИ И БЛАГОДЕЯНИИ *)

БЕСЕДА 4

В прошлую неделю Церковь совершала воспоминание беспримерного человеколюбия Божия к нам, показанного в притче о спасенном блудном сыне. Сегодня же она поучает о страшном суде Божиим, прекрасно подчеркивая постепенность и следуя пророческим словам: «Милость и суд воспою Тебе, Господи» (1) и «однажды сказал Бог и дважды слышал я это, что сила у Бога, и у Тебя, Господи, милость; ибо Ты воздаешь каждому по делам его» (2). Итак, милость и долготерпение предходят Божественному суду, ибо Бог содержит в Себе и преизбыточествует всякой добродетелью, будучи и милостив, и в то же время справедлив, т. к. милость не идет вместе с судом, согласно написанному: «Ты не помилуешь бедного на суде» (3). Естественно, что Бог разделяет по времени и то и другое: Он определил настоящее как время долготерпения, и будущее, как время воздаяния. И вследствие этого благодать Духа так распределила совершающееся в Св. Церкви, чтобы, научившись тому, что мы здесь получаем прощение грехов, старались, еще ществуя в этой жизни, достичь вечных милостей и удостоиться божественного человеколюбия; ибо тот «суд без милости не творящему милости» (4).

Итак, тогда мы предложили притчу о беспримерном божественном милосердии к нам; сегодня же наше слово будет о втором Христовом пришествии, о страшном по нем Суде и о том неизреченном, что потом совершится, «чего око не видело и ухо не слы-

*) С настоящего номера мы начинаем печатать «Беседы Св. Григория Паламы» в неизданном переводе архим. Киприана Керна (1899—1960). Архим. Киприан был профессором патрологии в Богословском Институте в Париже и сочетал превосходное знание греческого языка и патристики с редким литературным даром.

(1) Псал. 100,1.

(2) Псал. 61,13.

(3) Исх. 23,3.

(4) Иакова, 2,13.

шало и что не взошло на сердце человеческое» (5), не причастное Божественному Духу и превосходящее не только человеческое чувство, но и ум и слово. Ведь Тот, Кто все знает и Кто будет судить всю землю, поучая нас о том, Сам снисходит к способности поучаемых, предлагая им соответствующие выражения; поэтому им приводятся и молния, и облака, и труба, и престол и тому подобное, хотя мы, по Его обетованию, «ожидаем нового неба и новой земли» (6), отличных от настоящих. Если же сказанное, да еще так снисходительно сказанное наполняет трепетом и ужасом душу внимательно слушающих, то кто же стерпит это тогда, когда все эти явления будут иметь место? Насколько свято и благочестиво нам нужно жить, ожидая пришествия дня Божия, — в который, как сказал божественный Петр, — «воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают» (7), а «земля и дела, которые на ней, сгорят» (8). Впрочем до этого будет пришествие Антихриста и тягчайшее гонение на веру, которое, если бы не сократилось и не свелось на короткое время, «то не спаслась бы никакая плоть», как сказал в Евангелии Господь (9). Поэтому Он повелевает Своим ученикам, говоря: «итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына человеческого» (10).

Все это наполняет нас чрезвычайным ужасом, но тем, которые расточают свою жизнь в неверии, неправде и нерадении, угрожает еще худшее, чем сказанное, т. к. и Сам Господь говорит, что, «тогда восплачутся все племена земные» (11). Племена же земные суть те, кто не покорились Сшедшему с небес, не знают и не призывают Небесного Отца, и те, которые подобием дел не родственны с Ним. И опять-таки Он говорит: «день тот, как тать найдет на всех живущих по лицу всей земли» (12), т. е. на пригвоздившихся к земле и земному в похмельи, пьянстве, роскоши и житейских заботах, и всецело приверженных к внешнему и видимому благоприличию, богатству, славе и удовольствиям; ибо словами: «лицо всей земли» Он делает намек на внешнюю привлека-

- (5) I Кор. 2,9.
- (6) II Петр. 3,13.
- (7) II Петр. 3,12.
- (8) II Петр. 3,10.
- (9) Матф. 24,22.
- (10) Луки, 21,36.
- (11) Матф. 24,30.
- (12) Луки, 21,35.

тельность, а говоря о «живущих на ней», означает их постоянное и врожденное упорство. Такими словами Он связывает совершенно нераскаянных грешников с нечестивыми, как и предсказал Исаия: «будут вместе гореть беззаконники и грешники, и не будет кому потушить огня» (13). А «наше жительство находится на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя», сказал апостол (14), и «вы не от мира сего» — сказал Своим ученикам Господь (15); и им же Он повторил: «когда начнет это сбываться, тогда восклонитесь и подымите головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (16).

Видите ли вы, как во всем, что после того случится, живущие во Христе исполняются великой радостью и дерзновением, а живущие по плоти — стыдом, скорбью и унынием? Это и Павел замечает: «Бог воздаст каждому по его делам; тем, кто постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия — жизнь вечную; а тем, кто не покоряются истине, но покоряются неправде — ярость и гнев; скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое» (17). Ведь некогда, во дни Ноя, когда умножился грех, и завладел почти всем человеческим родом, произведен был Богом потоп, истребив всякое дыхание, сохранив только одного праведника со всем его домом, для возрождения нового мира. И когда после того, зло, как некая поросль снова распространилось, то Бог посек его частично, сперва испепелив Содомлян, а затем необыкновенным образом потопив в море фараоново войско, и истребив дерзкий род иудейский голодом, раздорами, болезнями и горькими казнями. Впрочем, наш общий Врач, кроме суровых средств и снадобий, пользовался и мягкими и приятными лекарствами, а именно: восставил отцов, показал пророков, совершил знамения, дал закон, послал ангелов. Когда же и это оказалось слабым против неодолимого стремления нашей злобы, то тогда само великое лекарство, укрощающее великие грехи, Само Слово Божие, преклонив небеса, сошло на землю; и став во всем, кроме греха, как и мы, Оно уничтожило Собою грех, укрепило нас, притупило его жало, посрамило на кресте виновников и союзников его и «смертию лишило силы имеющего державу смерти» (18).

- (13) Иса. 1,31.
- (14) Филип. 3,20.
- (15) Иоан. 15,19.
- (16) Луки, 21,28.
- (17) Римл. 2,69.
- (18) Евр. 2,14.

И как во дни Ноя, потопив водою грешников, так и после того, потопив грех Своею собственною праведностью и благодатью, Он восстал бессмертным, как некое семя и начаток вечной жизни, и пример и доказательство неложного чаяния нашего воскресения. Воскресши же, и вознесшись на небеса, Он послал апостолов во всю вселенную, произвел бесчисленную рать мучеников, поставил множество учителей, показал сонмы святых. И когда, сделав все, и не оставив ничего из того, что должно было быть, Он увидел, что по нашему свободному произволению зло снова настолько же первенствует; а особенно когда Он увидел его увеличившимся настолько, что люди тогда поклонились и подчинились Антихристу, оставив Самого Истинного Бога и Его Истинного Христа, то тогда Сам Он сойдет с небес с силою и славою многою, уже не как долготерпящий, а как наказующий тех, кто своими злыми делами накопит себе гнев во время долготерпения. И отделяя неизлечимых от здоровых, Он предаст их огню; и искупив Своих учеников от озлобления и сообщества злых людей, Он сделает их наследниками небесного Царствия.

Итак, сразу после скверного пришествия (19) Антихриста, Творец всего приведет все в замешательство, согласно сказанному пророком: «еще раз потрясу Я не только землю, но и небо» (20). Итак, Он сразу потрясает мир земной, и разрушает небесный предел мира, сворачивает небесный свод, мешая землю с огнем и смешивает все. Он посылает сверху множество звезд, как некие несказанные молнии на головы боготворящих зло, чтобы ими прежде всего были наказаны ученики Антихриста, к которому они привязаны умом, и вследствие чего они Противнику Божию подчинились как Богу. Затем, явившись с великой славою Сам, и при громких звуках трубы, Он оживит всех, как некогда Он вдохновением жизни оживил Праотца Адама. Он оживит всех от века умерших и поставит пред Собою. Нечестивых Он не выведет на суд и не удостоит их какого-либо слова; ибо «не устоят нечестивии на суде» (21), но на осуждение, согласно написанному. Он представит на суд все наши дела, как и сказано в Евангелии: «Когда придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые

(19) В греческом тексте: *βδελυρὰν παρρησίαν*, т. е. “после скверной дерзости” антихриста. Мы же предпочитаем латинскую редакцию Миня *post adventum*, т. е. пришествия, *παρρησίαν*, как более соответствующую контексту.

(20) Аггея, 2,21.

(21) псал. 1,5.

ангелы с Ним» (22). Ибо слава Его Божества при первом Его пришествии была сокрыта под телом, которое Он от нас и ради нас воспринял; теперь же она скрывается на небе у Отца с богочастиною (23) плотию, а тогда Он откроет всю славу. От востока до запада (24) явится Он, просвещая и озаряя концы вселенной лучами Божества, оглашая кругом звуками всемирной и животворящей трубы, и созывая к Себе все. И в первый раз привел Он ангелов, но не открыто, сдерживая их ревность против боготорцев; а в последний раз придет открыто, и не умолчит, но обличит и предаст непокорных наказанию.

Итак, «когда придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда — сказано в Евангелии — сядет Он не престоле славы Своей». Так ведь и Даниил предвидел и предсказал: «вот поставлены престолы, и воссел Ветхий днями»... «и видел я как бы Сына Человеческого, идущего на облаках небесных; и когда Он дошел до Ветхого днями... и дана Ему всякая честь и власть; тысячи тысяч служили Ему и тьмы стали вокруг Его» (25). Согласно с этим и Священное Евангелие говорит, тогда: «соберутся пред Ним все народы; и отделит Он одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Овцами Он называет праведников, потому что они тихи и кротки, и шествуют по гладкому, уготованному Христом пути добродетелей, и как бы подражают Ему. Да и Он Сам был Пророком и Крестителем назван Агнцем: «вот Агнец Божий, Который берет грех мира» (26). Козлами же называет грешников, ибо они дерзки и беспутны, и носятся по крутизнам греха. Первых, — говорится, — поставит Он по правую сторону, как делающих правое дело, а вторых, не делающих, по левую». Тогда скажет Царь; и не добавил Господь какой именно Царь, ибо нет никакого другого царя, кроме Него; т. к., если и суть многие господа и цари, то истинный Господь и Царь только один; Тот, Кто по природе Своей Владыка всего. Скажет тогда Единый Царь тем, кто по правую сторону: «придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира».

Поистине, создание мира было с начала обращено к этому.

(22) Матф. 25,31.

(23) *ὁμῶδες* — выражение, встречающееся часто у Паламы в отношении к прославленной плоти Спасителя. См. особый экскурс о том.

(24) Малах. 1,11.

(25) Дан. 7,9-10; 13-14.

(26) Иоанна, 1,29.

И для этой цели был и оный небесный и предвечный совет Отца, по которому Ангел Великого Совета Отца (27) не только по образу, но и по собственному подобию создал живого человека, чтобы он мог некогда достичь величия Божественного Царства, блаженства Божественного наследия и совершения благословения Небесного Отца, каковым начало быть все видимое и невидимое; ведь Он не сказал: «от создания видимого мира», но неопределенно: «от создания мира», как небесного, так и земного. Но этим благословением не только начал быть этот мир, но им же и Божественное и неизреченное истощание, Богочеловеческое житие, спасительные страдания и все таинства; для этой цели премудро и предусмотрительно предусмотрено так, чтобы показавший себя через это верным в настоящем, мог услышать от Спасителя: «хорошо, добрый раб; в малом ты был верен, над многим Я тебя поставлю; войди в радость Господина твоего». Итак, значит, сказано: «приидите и наследуйте этот устроенный, пребывающий небесный мир те, кто согласно Моему учению хорошо пользовался земным, тленным и мимопреходящим миром». «Ибо Я алкал, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне».

При этом можно спросить, почему упоминается только о милосердии, и почему за милосердие Он дает благословение, наследство и Небесное Царство. Впрочем, сознательно слушающим Он упоминает не только о милосердии. Ибо в самом деле, Он назвал овцами творящих больше чем милостыню, показав в этом наименовании уподобление Ему, всякую добродетель и постоянную готовность умереть за добродетель, как и Сам Он, по Писанию, «веден был как овца на заклание и как агнец перед стригущим его был безгласен» (28). Тем, кто сами такие, Он предписывает благотворение, потому что нужно, чтобы оно было доказательством и плодом любви, чтобы желающий наследовать то вечное царство, имел ее как некую, над всеми другими добродетелями возвышающуюся главу. Это же Господь показал и в притче о десяти девах, ибо в божественный брачный чертог не вошли просто женщины, но те именно, которые были украшены девством, чего бы они не смогли достичь без упражнения и воздержания и многих различных подвигов добродетели. Они держат светильники в своих руках, т. е. управляют свой ум и мысль и воздерживают его душев-

(27) Исаии, 9,6.

(28) Исаии, 53,7.

ною деятельностью, которая проявляется в руках, а также и жизнью, посвященную Богу и озаренную небесным сиянием. При всем этом нужен и запас елей, чтобы его хватило держать светильники горящими. Елей же есть любовь, как вершина добродетелей. Итак, если ты закладываешь основание и возводишь стены, крышу же не ставишь, то все это остается бесполезным; так же если ты стяжал все добродетели, а любви не приобрел, то все те добродетели бесполезны и напрасны. Точно так же и крыша дома не может быть возведена без поддерживающих ее стен.

Итак, Господь дает наследство тем, которые запечатлевают другие добродетели делами любви, будь то те, кто восходят к любви через безупречную жизнь, или те, кто прибегают к ней через покаяние. Одних из них я называю сынами, как стражей таинственного возрождения из Бога, других же наемниками, потому что они своими различными трудами покаяния и смирения вновь призывают к себе благодать как награду. Поэтому, растолковав сначала различным образом то, что в Божественном Евангелии относится к суду, Он приводит затем в виде перечисленных добродетелей дела любви. уже совершенные или только начатые. Но праведники говорят в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили? Или жаждущим, и напоили? Или нагим, и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице, и пришли к Тебе?» Видите ли вы праведников с правой стороны? Разве не по справедливости оказана им милость? Вы видите и иную добродетель, — смирение, подтвержденное полнотою любви праведников, как бы некое верное укрепление. Они укрепляются тем, что считают себя недостойными открытого признания и похвал, что они якобы ничего доброго не сделали, они, о которых засвидетельствовано, что они не оставили ничего не доделанным. Поэтому, думается, Господь и выслушивает их откровенность, чтобы они проявили свое смирение и вознеслись им, и по справедливости нашли милость у Того, Кто Сам щедр дает эту милость смиренным. Ибо «Господь гордым противится, смиренным же дает благодать» (29). И теперь Он говорит им: «истинно говорю вам, т. к. вы сделали это одному из сих моих меньших братьев, то сделали Мне». Меньшими Он их называет вследствие бедности и ничтожности; братом же называет их, потому что и Сам также во плоти жил на земле.

(29) Притч. 3,34.

Слушайте и веселитесь все вы, нищие и нуждающиеся, потому что тем самым вы братья Божии; и если вы были не по своей воле нищими и ничтожными, то терпением и благодарностью вы добровольно достигли спасения. Слушайте, богатые, и возжелайте блаженной нищеты, чтобы сделаться наследниками и братьями Христовыми, и еще более настоящими нищими, чем нищенствующие не по своей воле, ибо и Господь добровольно обнищал ради нас. Слушайте и вздохните вы, равнодушно допускающие злострадать ваших братьев, или лучше сказать — братьев Божиих, и от вашего недостатка не уделяющие нуждающимся пищи, покрова, одежды и соответствующих забот, и не расходующие от своего избытка на их недостатки. И мы сами, в особенности, послушаем и вздохнем. Ибо и сам я укоряюсь своей совестью, не будучи совершенно свободен от страстей. Когда многие дрожат от холода, и бедствуют, сам я сыт и одет; но еще большего плача достойны те, которые имеют и крепко держат свое богатство, превосходящее их повседневную нужду, или стараются и об увеличении его. Предназначенные любить ближнего как самого себя, они его даже прахом земным не почитают. Что же иное как не прах это золото и серебро, которое мы возлюбили больше своих братьев? Обратимся же, покаемся и поделимся щедро с бедствующими нашими братьями теми благами, которые мы имеем. И если уж не все наше богатство решили мы боголюбиво раздать нищим, то не будем и удерживать немилосердно все для самих себя. Но лучше раздадим и воздержимся от скупости, смиримся перед Богом, будем стремиться получить от Него прощение, восполняющее Его человеколюбием наш недостаток, чтобы нам не услышать, — да не будет того! — гласа проклинающего, ибо, ведь, Он «скажет тогда и тем, которые по левую сторону: «идите от Меня проклятые!» Каково же это проклятие? Это удаление от жизни, отделение от сладости, лишение света.

Впрочем и не только это, но и «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его». Ибо как стоящие справа будут иметь жизнь и больше того. А жизнь — это значит быть вместе с Богом, а больше — оставаться сынами и наследниками Его царства; так и стоящие слева, не достигшие истинной жизни, — удаление от Бога, будут иметь и большее зло, т. е. сочетание с демонами и предание наказующему огню. Каков же этот огонь, который касается и телес, и разумных телесных существ, и бестелесных духов, огонь, мучающий и вечно у себя удерживающий, от какового огня и наш огонь растает,

как и написано: «разгоревшиеся стихии растают» (30). А т. к. тот огонь неугасим, то насколько же страдание увеличивается безнадежностью освобождения? (31) Какое же еще мучение уготовано? Река, несущая тот огонь, по-видимому, навеки удаляет от Бога. Господь, ведь, не сказал: «уйдите», но «идите от Меня проклятые». Вы и нищими издавна прокляты, и если те терпели, то вы достойны проклятий. Идите, говорит, в огонь, уготованный не вам, но диаволу и ангелам его; ибо Мое первоначальное желание не таково, не для этого Я вас сотворил, не для вас Я приготовил этот костер. Этот неугасимый огонь зажжен прежде для демонов, имеющих неизменную привычку ко злу, с которыми вас связывает ваше непокаянное, как и у них, настроение. Следовательно, сожительство ваше с демонами добровольно. Ибо «алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был наг, и вы не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня». Как любовь, братия, и дела любви суть полнота добродетелей, так и ненависть и дела ненависти, несострадательное настроение, скупой нрав, — суть полнота греха; и как с человеколюбием сопутствуют и спребывают добродетели, так с человеконенавистничеством — пороки; поэтому этим одним они осуждаются.

Я хотел сказать, что нет большего доказательства ненависти, как предпочитать обилие серебра своему брату; но я вижу зло, обнаруживающее и еще большее человеконенавистничество, ибо есть и такие люди, которые не только не милуют тех, от кого обогащаются, но и еще присваивают себе чужое. Так пусть они, смотря на осуждение немилостивых, рассудят, что они получат, что будут они испытывать, какого невообразимого и нестерпимого осуждения они достойны, и пусть отступят от неправды, и делами покаяния умилоствят Бога. Они тогда скажут в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странным, или нагим, или больным или в темнице, и не послужили Тебе?» Видите ли вы и само высочайшее зло — гордость сопряженную с немилосердием, как и сострадание, сопряженное со смирением? Праведники, похваляемые за свое благодеяние, еще больше смиряются и не оправдывают себя; а эти, осуждаемые праведным Судь-

(30) II Петр. 3,12.

(31) О том, что ужас наказаний увеличивается их нескончаемостью, находим у Паламы в «De passionibus... ad Xenam». § 34. M. P. g. t. 150, col. 1077 A.

ей за свое немилосердие, не припадают в смирении, но возражают и сами себя оправдывают. Поэтому они и услышат голос: «истинно говорю вам, так как вы не сделали одному из сих меньших, то не сделали и Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».

Итак милостью по отношению к братьям, помилуем сами себя, братия: привлечем к себе состраданием сострадание; будем благотворить, чтобы получить благотворение; и хотя воздаяние и подобно делам, однако благотворение, человеколюбие, любовь, милость и сострадание не равноценны и не соразмерны избытку награды. Ибо ты-то, ведь даешь из того, что имеет человек, и поскольку человек может благодетельствовать, а взамен получаешь сторицею и вечную жизнь, и благодеяния от божественных и неиссякаемых сокровищ, поскольку Бог может благодетельствовать, т. е. «то, что глаз не видел, и ухо не слышало, и на сердце человека не восходило» (32). Постараемся поэтому достичь богатства благодати; купим малыми сребренниками вечное наследство, устрасимся только что слышанного приговора против немилостивых, чтобы там не быть нам осужденным этим приговором. Не будем бояться стать нищими, давая милостыню, и услышим от Христа: «придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство». Устрасимся и будем делать все, чтобы не оказаться за немилосердие вне любви Божией, так как «не любящий брата своего, которого он видит, как будет любить Бога, — говорит Евангелист, — Которого он не видит» (33). А как же не любящий Бога будет вместе с Богом? А кто не с Ним, тот отходит от Него; удалившись же от Него он безусловно впадет в геенну.

Покажем же дела любви по отношению к нашим братьям во Христе, милуя бедных, обращая заблуждающихся, какое бы ни было заблуждение или бедность; защищая обиженных, укрепляя в немощи лежащих, страдают ли они от видимых врагов и недугов, или от невидимых лукавых духов и бесчестных страстей; посещая заключенных в темнице, а так же терпя обижающих нас, отпуская друг другу взаимные обиды, как и Христос отпустил нам. Одним словом, всеми способами, всеми делами и словами, которыми мы можем, да покажем взаимную любовь, чтобы и мы получили любовь от Бога и благословение от Него, и

(32) I Кор. 2,9.

(33) I Иоанна, 4,20.

унаследовали обещанное нам и для нас уготованное от создания мира небесное и вечное Царство. Да удастся нам всем достичь этого, благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу и Св. Духу честь и слава во веки веков. Аминь.

Перевод архим. Киприана (Керн).

Прот. И. МЕЙЕНДОРФ

ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ *

В нашем столетии произошло огромное событие в истории христианства: разрушились лингвистические, культурные и географические перегородки между восточными и западными христианами.

Еще пятьдесят лет назад контакт между Востоком и Западом был редок и ограничивался формальной и научной сферами. В странах, где православные и католики связывали воедино свои национальные чувства с церковными — плодотворного диалога между церквями не могло быть. В наши дни эта картина резко изменилась. После двух войн и революции в России восточные и западные христиане оказались разбросанными по всему миру. Этому способствовало русское рассеяние после революции и перемещение других национальных групп — главным образом, после второй мировой войны. К этому присоединился еще и процесс созревания американского православия. Все эти факторы позволили Православной церкви влиться в главное русло экуменического движения. Это — с одной стороны. С другой — глубоко секуляризированный мир бросил вызов всем христианам одновременно и игнорировать этот вызов оказалось невозможным, он требует серьезного богословского ответа. Современной молодежи безразлично, на какую духовную преемственность этот ответ опирается: на восточную, западную, византийскую или латинскую, — молодежь ищет только Правды и Жизни. Таким образом, перед нашим Православным богословием стоит выбор: — либо

*) Речь, сказанная 17 октября 1968 года в большой аудитории Свято-Владимирской Духовной Академии в Нью-Йорке в связи с празднованием тридцатилетия Академии.

стать подлинно кафолическим, либо совершенно исчезнуть. Наше богословие должно определиться как «Православное», а не как «Восточное», причем оно для этого не должно отказываться от своих «Восточных» корней. Тут нет речи о так называемом «новом богословии», которое порывает с традицией и преемственностью, — наоборот, Церковь нуждается в серьезном богословии, способном разрешить насущные вопросы современности.

Древние Каппадокийские Отцы Церкви считаются великими богословами именно потому, что они сохранили все содержание Христова Евангелия от нападков со стороны эллинского философского мировоззрения. Они достигли этого тем, что сумели — частично сохраняя и частично отбрасывая это мировоззрение, — понять его и тем утвердили значение своего богословия.

Наша современная задача — не только сохранить верность их мысли, но, подражая им, повернуться лицом к вопросам нашего времени. Сама история освободила нас от культурных ограничений, от провинциализма и от психологии «гетто».

I

Как можно определить тот философский мир, в котором мы живем теперь и с которым мы призваны вести диалог? Прежде всего — как мир парадоксов.

Приведем основное утверждение знаменитого протестантского богослова Павла Тиллих'а:

«Против Паскаля я скажу: Бог Авраама, Бог Исаака и Иакова и Бог философов — это один и тот же Бог», — этими словами он пытается перебросить мост над бездной, отделяющей библейскую религию от философии. Но дальше он признает ограниченность человека в познании Бога. Он пишет: «(Бог) есть Личность и одновременно Отрицание Себя как личность». Вера, которая для Тиллих'а не отличается ничем от философского познания, «одновременно включает себя и сомнение в себе: Христос есть Иисус — и есть Его отрицание. Библейская религия является и утверждением и отрицанием онтологии. Задача и достоинство человеческой мысли состоит в том, чтобы безмятежно и мужественно жить в таком напряжении (антиномии) и суметь в конечном итоге найти полное единство как в глубине собственной души, так и в глубине Божественной жизни».

Современные радикально настроенные богословы часто критикуют Тиллих'а за его, по их мнению, преувеличенный интерес к библейской религии, но все-таки именно он и выражает в своем богословии то основное гуманистическое направление, к которому они все принадлежат: — Высшая религиозная правда находится в глубине души человека, а не в Священном Писании.

Основное направление в современной западной христианской мысли в сущности не что иное, как реакция против древней Августиновской дихотомии, то есть отделения «природы» от «благодати». Это разделение определило собой всю историю Западного христианства в Средние Века и вплоть до нашего времени. Хотя сам блаж. Августин и сумел частично заполнить образовавшуюся онтологическую бездну между Богом и человеком при помощи Платоновской антропологии, приписав *sensus mentis* специальную способность познания Бога, раздвоение осталось основной богословской категорией и в схоластике и в Реформации.

По учению блаж. Августина, грехопадение настолько исказило природу человека, что между ним и Богом не осталось ничего общего — ни спасения, ни достойного человека творчества. Он нуждается в специальной «предваряющей благодати», которая одна может создать внутри его некий *habitus* то есть «состояние», при котором его действия приобретают положительный характер. Такие отношения между Богом и человеком становятся чисто внешними: «благодать», даруемая человеку в силу «заслуг» Христовых, который Своей искупительной жертвой «удовлетворил» Божественную справедливость, осудившую человека при грехопадении. Протестантские реформаторы отбросили понятие «заслуг» и «добрых дел», но остались верны первоначальному разделению между Богом и человеком; они даже усилили его в своем понимании Евангелия, как свободного дара Божьего, противопоставляемого полному бессилию павшего человека. Окончательная судьба человека решается только через «благодать» (*Sola Gratia*), а о спасении мы узнаем только через Св. Писание (*Sola Scriptura*). Дешевые «средства приобретения благодати», раздававшиеся Средневековой Церковью, таким образом заменены провозглашением милосердия от Лица Всемогущего Трансцендентного Бога.

Протестантская нео-ортодоксальность Барта дала новый импульс Августиновскому образу мысли протестантов. Но, в наше время, протестантское богословие резко отталкивается от Августинизма. Сам Карл Барт в последнем томе своей «Церковной Догматики» радикально отворачивается от своих прежних взглядов,

выражавшихся, в начале 20-х годов, в его толковании на послание к Римлянам. В более поздних писаниях Барт утверждает присутствие Бога в творении независимо от акта воплощения. Таким образом, он сам отражает новое настроение в богословии — то, которое объединяет столь различных людей как Павел Тиллих и Тейяр де Шардэн. Отсюда берет свое начало и более радикальное, но менее серьезное американское «Новое Богословие» Hamilton'a, Van Buren'a и Alitzer'a.

Дальше мы вернемся к онтологии творения, лежащей в основе богословия Барта и Тиллиха. Заметим пока явный параллелизм их мысли с главными положениями и заключениями русской «Софиологической» школы. Если, как мы отметили, некоторые последние части Догматики Барта могли бы быть написаны о Сергием Булгаковым — то это самое можно сказать, например, и о христологии Тиллих'a, в которой он, как и Булгаков, говорит не столько о чуде Боговоплощения в истории, как о выражении вечного «Богочеловечества». Это сходство с Софиологией зиждется на общем основании германского идеализма: если бы Флоренский и Булгаков были поколением моложе или если бы их работы были известны на Западе, они наверное получили бы не меньшее влияние и пользовались бы не меньшим успехом, чем Тиллих и Тейяр.

В наше время, софиология не слишком привлекает внимание молодых православных богословов; они предпочитают преодолевать дихотомию (двойственность), идя по пути христоцентрическому, библейскому и патристическому. Но в протестантизме преобладает философский подход к христианскому Откровению. Преобладание этого подхода совпадает с другой «революцией» в области неизбежно центральной для протестантов: в истолковании Библии.

Настойчивость Бультмана и его последователей на отмежевании христианской проповеди от фактов истории является новым способом субъективировать Евангелие.

Для Бультмана, христианская вера не возникла из показаний очевидцев воскресшего Господа, а совсем наоборот: христианская вера родила миф о Воскресении. Следовательно, вера есть не что иное, как естественная, субъективная функция человека, гнозис без объективного критерия. Если же, с другой стороны, считать созданный порядок вещей неизменяемым, даже для Самого Бога, на основании предпосылки, что любой не проверенный наукой факт — как, например, Воскресение — *ipso facto* является не-

историческим мифом, тогда сам созданный порядок вещей лишается содержания, превращается в детерминизм, обязательный для Самого Бога. Откровение, таким образом, должно быть подчинено этому самому, созданному Богом порядку вещей. Бог не может не следовать законам и принципам Им Самим установленным. Следовательно, познание Откровения качественно не отличается от других форм познания; христианская вера, — пользуясь выражением Тиллих'a, в таком случае только устремленность к Безусловному, или к «глубине творения».

Для Тиллих'a, как и для Бультмана, исторический Христос и Его учение остаются центром христианской веры: «Материальная норма систематического богословия, — пишет Тиллих в своем труде «Систематическое богословие», — это Новое Бытие в Иисусе, как Христе; оно является для нас Главным интересующим нас Объектом». Затруднение только в том, что в мировоззрении Тиллиха нет никаких объективных причин, чтобы во главу угла жизни был избран исторический Христос, — следовательно выбор произволен. Поскольку Христианство определяется только как ответ на извечное стремление человека к Абсолюту, — нет оснований не найти этого ответа в других учениях, вне Христа. Такая подмена явно случилась с Вильямом Гамильтоном. Он пишет, что «Богослов иногда склонен думать, что Христа легче понять не как Объект или Основание веры, не как Личность, Событие или общину, но просто как исходную точку, как платформу, общую с любовью к ближнему». «Платформа», под влиянием Гегеля и Маркса, как известно, превратилась в социальную «озабоченность». И, в конце концов, христианство превращается в форму простого левого гуманизма.

Конечно, радикальные гуманисты типа Alitzer — Hamilton — Van Buren являются меньшинством среди современных богословов, и реакция против их идей уже начинается. Но сама природа реакции далеко не всегда здорова. Иногда она сводится к простому возврату к традиционному авторитету, то есть к *Magisterium* у римо-католиков, и к Библии, к так называемому фундаментализму, у протестантов. Эти оба течения требуют некоего *credo quia absurdum*, слепой веры, отрешенной от разума, науки или современных социальных явлений. Явно, такое понимание авторитета становится уже не богословским, и, по существу, выражает иррациональный консерватизм, обычно связанный в Америке с политической реакцией. Таким образом, довольно парадоксально — обе крайности в богословии отождествляют Христианское

Благовестие с эмпирическими явлениями жизни: — социологической, политической, революционной — **этого мира**. Делается совершенно очевидным, что старая антиномия «благодати» и «природы» осталась неразрешенной; скорее всего, она приглушена либо простым отрицанием всего «сверхъестественного», либо отождествлением Бога с небесным Deus ex machina, главная функция которого — сохранять в целостности догматы, общества, структуры и авторитеты.

Явно, что место православного богословия не находится ни в одном из этих лагерей. Главная задача Православия — заново формулировать библейское понимание Святого Духа как Божественного Присутствия в мире; такого Присутствия, которое не уничтожает эмпирический мир, а спасает его; Которое единит всех в той же Истине, но при этом оделяет всех различными дарованиями. Святой Дух является высшим Даром жизни, — но и Подателем ее, находясь всегда превыше твари; Дух Святой — это основание Церковного Предания и преемственности, и самое присутствие Его делает нас воистину и навсегда **свободными** сынами Божиими. Как Митрополит Игнатий Хазим сказал этим летом на собрании в Упсале: «Без Духа — Бог далеко от нас; Христос — принадлежит прошлому, и Евангелие — мертвая буква, Церковь — становится простой организацией, авторитет — властвованием, миссионерство — пропагандой, богослужение — воспоминанием, а христианская активность — чисто рабская мораль».

II

К учению о Святом Духе трудно подходить абстрактно. Вероятно, поэтому так мало хороших богословских трудов посвящено Святому Духу, и даже Святые Отцы говорят о Нем либо в отдельных полемических сочинениях, либо в чисто духовной литературе. И все же, без углубления в пневматологию, нельзя понять ни христологии Отцов Церкви, ни экклезиологии первых веков христианства, ни даже самой идеи спасения.

Я постараюсь показать это на пяти примерах, которые мне представляются исходными точками Православного свидетельства, столь важного в современном богословии.

1. Мир не божествен и нуждается в спасении.
2. Человек — существо теоцентрическое.
3. Христианское богословие — христоцентрично.
4. Подлинная экклезиология — персоналистична.
5. Истинное понимание Бога — троично.

1. Мир не божествен

В Новом Завете, и не только у Евангелиста Иоанна, слышится постоянное противоположение Духа истины «Который от Отца исходит» (Ио. 15,26), «Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его» (Ио. 14,17), — духам, которых надо «испытывать, от Бога ли они» (I Ио. 4,1).

В послании к Колоссянам о всем космосе говорится, как о лежащем во власти сил, господств «стихийных духов мира», противных Христу, хотя и «созданных Им и для Него». Христианство внесло нечто совершенно новое в мир: оно освободило мир и вселенную от мифов. Вера в то, что Бог обитает в стихиях, в воде, в источниках, в звездах, в Императоре — все это было с самого начала отвергнуто Апостольской Церковью. И та же Церковь осудила все формы манихейства, всякий дуализм. Мир сам по себе — не является злом; его стихии должны возвещать славу Божию; вода может быть освящена, космосом можно управлять; император может стать слугой Божиим. Все элементы, составляющие мир — не самоцель, какими их считал до-христианский мир, обоживший их. Христианство, наоборот, всю природу, весь космос до самой глубины определяет по отношению к Создателю как элемент тварный, и так же к человеку, образу Божьему в мире. Вот почему Православное богослужение (как и другие древние христианские литургии) придает такое значение чинам освящения, которые включают

- а) элементы экзорцизма («Ты сокрушил еси главы змиев...» Из Великого освящения воды, в день Богоявления);
- б) Призывание Святого Духа «от **Отца** исходящего», то есть «не от мира», и
- в) утверждение, что в его новом, освященном бытии вещество, укрепленное в Боге и восстановленное в своем первоначальном отношении к Творцу — отныне будет служить **человеку**, которого Бог создал господином вселенной.

Таким образом, благословение и освящение любого вещества в мире **освобождает** человека от зависимости и ставит это вещество на служение человеку.

Так древнее христианство лишило покрова мифичности элементы физического мира. Подобную задачу должно проделать современное богословие в отношении «Общества», «Пола», «Государства», «Революции» и других модных идолов.

Новые пророки секуляризации отчасти правы, когда говорят, что христианство секуляризирует мир: освобождение мира от языческой мифологии было христианской идеей с самого начала, — но дело в том, что для многих современных Западных христиан **сама Церковь** должна быть секуляризована и заменена новым идолопоклонством, поклонением миру, — и этим человек опять отказывается от свободы, дарованной ему в Духе Святом и снова идет в плен детерминизму истории, социологии, психологии Фрейда или утопическому прогрессизму.

2. Человек — существо теоцентрическое

Для того чтобы понять, в чем состоит «Свобода в Духе Святом», вспомним совершенно парадоксальное утверждение Св. Иринея Лионского: «Совершенный человек состоит из слияния и из единения души, приемлющей Духа Отца и смешения с тем плотским естеством, которое было также образовано по образу Божию» (Adv. Haer. 5, 6,1). Эту выдержку из св. Иринея, так же как и несколько других, параллельных с ней, надо расценивать не по определениям после-Никейского богословия, что вызвало бы слишком много вопросов, но в ее положительном содержании. Это положительное содержание проходит через писания всех святых Отцов. Человек становится человеком лишь через присутствие в нем Духа Божия. Человек — не автономное, не самодовлеющее существо; его человечность состоит — с одной стороны, в его восприимчивости («открытости») к Абсолюту, к бессмертию, к творчеству по образу Творца, и с другой — в том факте, что Бог пошел навстречу этой восприимчивости («открытости») Своего творения, и потому общение и участие в Божественной жизни и славе для человека есть его природное свойство.

Позднейшая Отеческая традиция последовательно развивала идеи Св. Иринея (не обязательно его терминологию), что особенно важно для его учения о свободе человека.

По Св. Григорию Нисскому, грехопадение состояло в том, что человек подпал под власть космического детерминизма, тогда как раньше, пока он сохранял образ и подобие Божие и участвовал в Божественной жизни, он был всецело свободен. Это значит, что свобода не противоположна благодати, а благодать, то есть сама Божественная жизнь не принудительная сила, заставляющая нас повиноваться Богу, и не является добавлением к человеческой природе, необходимая для увеличения цены наших

добрых дел. Благодать — это то состояние, которое дает человеку реальность свободы: «Когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преобразуемся в тот же образ славы в славу, как от Господня Духа» (II Кор. 3,16-18).

Одно из основных утверждений этого текста ап. Павла, как и антропологий святых Иринея и Григория Нисского, заключается в том, что природа и благодать, человек и Бог, человеческий разум и Святой Дух, человеческая свобода и Божественное присутствие — все эти элементы совместимы. Подлинная человечность в ее творчестве, в истинной свободе, в первоизданной красоте и гармонии и проявляется тогда только, когда она причастна Богу или когда, по словам ап. Павла и св. Григория Нисского, она восходит от славы в славу, не исчерпывая до конца ни богатств Божиих, ни возможностей человека.

Ходким лозунгом наших дней является утверждение, что богословие должно превратиться в антропологию. Православный богослов не может и не должен уклоняться от обсуждения этого вопроса при условии, что с самого начала будет положен в основание «открытый» подход к человеку. Современные модные «догматы» о секуляризме, автономии человека, космоцентризме, социальном действии должны быть отброшены как догматы. Многие из них, как уже сказали, имеют глубокие корни в Западном христианстве, которое с давних пор боится идеи участия человека в Божественной жизни (так как оно его обычно отождествляет с эмоциональным мистицизмом) и скорее склонно рассматривать человека как существо автономное. Этот подход ложен в самом своем существе.

Даже в наши дни, «пророки» безбожного христианства прежде всего ошибаются в своем истолковании человека.

Современная молодежь не «секуляристична», она жаждет удовлетворить свою естественную потребность «Другого», Трансцендентного, «Самой Истины», но она ищет этого такими сомнительными способами, как принятие Восточных религий (Буддизм и т. д., наркотиками и разными средствами, вызывающими галлюцинации).

Наш век — не только век секуляризма, но также и век возникновения новых религий, вернее, подмены истинной религии —

ложными. И это неизбежно, потому что человек — Существо теоцентрическое: когда его лишают Истинного Бога, он создает ложных богов.

3. Христоцентрическое богословие

Если святоотеческая антропология правильна, тогда все формы христианского богословия становятся христоцентричными.

Христоцентризм принято противопоставлять пневматоцентризму. И действительно, если придерживаться идеи внешнего искупления, основанного на так называемой сатисфакции, т. е. когда благодать удовлетворения правосудию Божьему только совне прилагается к человеку, имеющему в других отношениях совершенно автономное бытие, то противоположение неизбежно. Такая христология противоречит пневматологии, так как в ней поистине нет места действию Духа.

Но поскольку мы верим, что именно присутствие Духа делает человека настоящим человеком, и что назначение человека состоит в том, чтобы с помощью Святого Духа восстановилось полное общение с Богом, тогда Христос, Новый Адам, единственный, в ком проявилось подлинное человечество, потому что Он был рожден в истории «от Святого Духа и Приснодевы Марии» — не может не быть центром нашего богословия. И эта центральность не ограничивает ни в чем роли Святого Духа.

Христоцентризм в богословии в наши дни подвергается сильным нападкам со стороны Бультмановских толкований Священного Писания. Если каждое явление — миф, как только оно не следует законам эмпирической науки и опыту, то историческое Явление Христа теряет свою абсолютную единственность, так как Его единственность субъективирована. Тем не менее «христоцентризм» еще крепко утвердился не только в среде оставшихся сторонников нео-ортодоксальности Бартианства, но и Тиллих'ом. Он как бы «со-существует» в трудах богословов, которые, как Джон Маккэри, пытаются примирить де-мифологизацию таких событий, как Воскресение и Вознесение с общим классическим изложением богословского учения.

И все же, даже у таких сравнительно традиционных или полутрадиционных авторов можно заметить явную склонность к несторианской и адопционистской христологии. Тиллих, например, формально это выражает (когда он пишет, что «человек — Иисус

может быть только «усыновлен» Богом, но человечество Его не может быть «извечно», или преображено: ибо преображенное человечество лишается конечной свободы и не свободно стать ничем иным, как только божественным»). Из этого положения ясно сквозит старая Западная мысль, что Бог и человек, благодать и свобода друг друга взаимно исключают. Это осадок у Тиллих'а той «закрытой» антропологии, которая исключает Православную Христологию, заменяя ее несторианской: во Христе существуют **отдельно** человек и Бог.

Уже с девятнадцатого века историки и богословы занялись реабилитацией Нестория и его учителя Феодора Мопсуестского во имя автономии человека. Эта реабилитация привлекла к себе нескольких выдающихся православных богословов, которые также выказывают явное предпочтение этого рода «историчности» Антиохийской школы, считающей, что вообще история может быть исключительно «человеческой» историей.

Для того чтобы быть лицом «**историческим**», Христос должен был быть не только **вполне** человеком, но и как бы **самостоятельно** и независимо человеком. Между тем, основные утверждения св. Кирилла Александрийского о том, что Сын Божий Сам сделался Сыном Марии — которая оттого и стала Богородицей, и о том, что Сын Божий «страдал во плоти», представляются в лучшем случае как злоупотребления терминологии или причудливым богословием. Как может Логос, т. е. Сам Бог **умереть** плотью на кресте, если Бог, по самому определению, бессмертен.

Нет нужды входить здесь в подробное обсуждение богословских понятий, относящихся к учению об ипостасном единстве Божества и Человечества во Христе. Я просто хочу подчеркнуть со всей силой, что формула св. Кирилла Александрийского: «Слово пострадало во плоти» — одно из величайших христианских утверждений **подлинности** человечества. Потому что, если Сын Самого Бога, для отождествления Себя с человечеством, ради того, чтобы «быть подобным нам во всем, даже до смерти» — человеческой смерти — умер на кресте, Он этим засвидетельствовал с силой, превосходящей наше воображение, что человечество воистину самое драгоценное, самое существенное, негибнущее создание Божие.

Конечно, христология св. Кирилла заранее **предполагает** «открытую» антропологию ранних и более поздних Отцов Церкви. Человечество Иисуса, будучи «во-ипостазировано» в Логосе, было

не менее полно человечности, потому что присутствие Бога не разрушает человека. Даже больше: можно сказать, что Христос был более полным человеком, чем мы сами. Здесь опять, цитируя Карла Rahner'a (в этом вопросе наиболее близкого к святоотеческой традиции среди Западных богословов), «человечество — это реальность совершенно «открытая» вверх; реальность, достигающая своего совершенства, осуществления высших достижений человека, когда в ней Сам Логос обитает в мире».

Можно также сказать, что христология включающая «теопасхизм» (то есть идею о страдании Бога во плоти), предполагает одновременно и «открытость» со стороны Бога.

Таким образом, только на фоне **такой именно** христологии можно принять мысль о том, что богословие становится по необходимости и антропологией и, наоборот, что только подлинное понимание человека — его создания, падения, спасения и окончательной судьбы — открывается во Христе, в Слове Божием, распятом и воскресшем.

4. Персоналистическое учение о Церкви (экклесиология)

Поскольку присутствие Святого Духа в человеке **делает его свободным**, и если под благодатью понимается освобождение от предопределения, то принадлежность Телу Христову означает также и свободу. В итоге, свобода означает **личное** существование.

Наше богослужение учит нас тому, какая великая личная ответственность ложится на каждого члена Церкви. Диалог перед таинством Крещения, развитие покаянной дисциплины и причащения показывают **личный** характер участия членов Церкви в христианской жизни. Нам хорошо известно, что в Новом Завете слово «член» (*μέλος*), когда он обозначает христиан как «членов Христа» (I Кор. 6,15) или как «членов друг другу» (Еф. 4,25), применяется только к отдельным лицам, никогда не к целым группам, как, например, к поместным церквям. Поместная церковь, Евхаристическая община — это Тело, **принадлежность** же к ней в качестве «члена», это исключительно **личный** акт.

В наше время говорить о «личном христианстве» и о «личной вере» чрезвычайно непопулярно, в значительной мере потому, что на Западе религиозный персонализм сразу ассоциируется с пие-тизмом и эмоционализмом. Здесь мы опять наблюдаем то же старое непонимание подлинного участия человека в Божественной

жизни; либо благодать даруется Церкви как учреждению, либо она является некоторым безвозмездным даром, подаваемым Божиим всемогуществом всему человечеству, — и тогда эти проявления личного общения с Богом приобретают характер пие-тизма и эмоциональной мистики. Тем временем стремление многих христиан отождествить свою веру с социальной деятельностью, с групповой динамикой, с политикой, с утопическими теориями исторического развития — это стремление лишено того, что составляет самую сердцевину Новозаветного благовестия: личного живого опыта общения с личным Богом. Иногда это благовестие раздается со стороны евангелических возрожденцев или пятидесятников, и тогда оно действительно выливается в форму эмоционально-поверхностную, но это происходит потому, что такое благовестие не имеет твердого основания ни в богословии, ни в экклесиологии.

Все вышеуказанное налагает особую ответственность на Православную Церковь, которая должна осознать огромную важность библейского и святоотеческого понимания Церкви, как Тела Христова, и **Таинства**, являющего объективное присутствие Бога в иерархичности церковной структуры, независимой от личного достоинства ее членов, но и как **общины живых, свободных личностей** с индивидуальной и прямой ответственностью перед Богом, перед Церковью и друг перед другом. Личный опыт приобретает и свою реальность и свою подлинность от участия в Таинстве. Но и Таинство дается общине только для того, чтобы личный опыт оказался возможным внутри общины. Парадокс между «личным» и «общинным» восприятием Церкви лучше всего показан великим Отцом Церкви св. Симеоном, Новым Богословом, наиболее «сакраментальным» духовным писателем Византии. Он считает величайшей ересью мнение некоторых из его современников, что личное общение с Богом невозможно. Все святые, древние и современные, могут подтвердить, что этот «парадокс» стоит в самом центре христианского бытия. Именно через эту антиномию «сакраментального» и «личного» можно найти ключ к пониманию авторитета в Церкви. И опять-таки, в этом ответственность Православия вполне исключительна.

В настоящее время становится все яснее, что вопрос авторитета не просто внешний спор между Средневековым Востоком и Западом, выражавшийся в борьбе Константинополя с Римом, но что глубочайшая драма всего западного христианства содержится именно в этом вопросе. Авторитет Рима, который в течение многих веков ошибочно считал себя одного ответственным за Истину и

который достиг замечательных успехов в воспитании членов Церкви в добродетели послушания, но в то же время освободил их от ответственности, теперь открыто оспаривается (часто на ложных основаниях). Защитительную борьбу ему приходится вести на незащищенных позициях. Именно Православию надлежит показать миру, что спасение христианской веры лежит не во внешнем авторитете, а в духовном и богословском «возрождении». Сумеет ли Православное богословие, сохранившее равновесие между авторитетом, свободой и ответственностью за истину, дать убедительный ответ миру? Если не сумеет, то трагичным окажется не наша потеря вероисповедной гордости, которая, как и всякое самоутверждение, по природе, — демонична, но трагичны будут последствия этого для Христианской веры, как таковой.

5. Истинное понимание Бога — троично

Когда немного раньше мы упомянули христологическую формулу св. Кирилла Александрийского: «Един от Святой Троицы пострадал во плоти», то есть слова, поющиеся за каждой литургией в песнопении «Единородный Сыне...», мы утверждали, что это прежде всего признание **человечества**, как ценности, важной Самому Богу, настолько для Него значительной, что ради нее Он принял крестные муки. Но, кроме того, эта формула утверждает Личное или Ипостасное бытие Божие.

Все возражения против этой формулы основаны на отождествлении бытия Божия с Его сущностью. Бог не может умереть, говорили Антиохийские богословы, потому что Он бессмертен и неизменен, и по природе и по сущности: понятие «смерть Бога» является таким логическим противоречием терминов, что истиной оно не может быть — ни в религиозном ни в философском смысле. В лучшем случае — это, как и термин «Богородица» в применении к Деве Марии, может быть благочестивой метафорой. Однако, в Православном богословии формула св. Кирилла была принята не только как истина религиозная и богословская, но была признана Критерием Православия, на пятом Вселенском Соборе (553 г.).

Бог не связан теми философскими требованиями или атрибутами, которые наша логика Ему приписывает. Святоотеческое понятие ипостаси, неизвестное греческой философии (она употребляла слово ипостась в другом смысле), отлично в Боге от Его непостижимой, недоступной человеку и посему не поддающейся определению сущности. Оно предполагает идею «открытости» — имма-

нентности Бога и дает возможность Божественной Личности, или Ипостаси, сделаться **полностью** человеком. Это снисхождение Божие встречается с «открытостью вверх», характеризующей человека, и делает возможным факт того, что Бог не остается «там, вверху» или «в небесах», но что Он действительно спускается до уровня человеческого, смертного состояния не с целью поглотить человека или уничтожить, но для того чтобы спасти его и восстановить прежнее общение с Собой.

Это «снисхождение» Божие, по святоотеческому богословию, происходит на уровне личного или ипостасного бытия Божия. Если бы это произошло в отношении природы или сущности Бога, — как некоторые так называемые «кенотические» теории утверждали, — тогда Логос, так сказать постепенно, по мере приближения смерти становился бы все меньше Богом, и в момент смерти перестал бы Им быть. Формула св. Кирилла, наоборот, утверждает, что на вопрос: «Кто умер на кресте?» — нельзя иначе ответить как словом «Бог», потому что в Христе не было другого **личного** бытия, кроме Логоса; и еще потому, что смерть — акт **личный**. Может умереть только Кто-то, а не что-то.

«Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником и на Престоле был еси со Отцем и Духом, вся исполняя Неописанный» — вот что провозглашает Церковь в пасхальном песнопении: соединение в единой ипостаси существенных черт божественной и человеческой природы, причем каждая из них остается собой неизменно.

Человеческий разум не может спорить против этого догмата, ссылаясь на качества Божественной сущности, потому что эта сущность абсолютно неизвестна и неопишима и потому еще, что наше непосредственное познание Бога возможно именно потому, что Лицо Сына Божия приняло другую природу, не божественную, вошло в созданный мир и заговорило с человеком устами Иисуса Христа, умерло человеческой смертью, воскресло из человеческого гроба и установило вечное общение с человеком путем ниспослания Святого Духа.

«Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ио. 1,18).

Было бы несомненно слишком поверхностно установить параллель между новомодной богословской теорией «смерти Бога» и Святым Кириллом Александрийским. Весь контекст и вся цель богословия в обоих случаях совершенно различны. С другой стороны, православным богословам возможно и даже необходимо

утверждать, что Бог — не философское понятие, не «сущность со свойствами», не концепция, а что Он именно Тот, Кем и является Иисус Христос; что познание Его состоит прежде всего в личной встрече с Тем, в Ком апостолы признали воплощенного Логоса, а также и с «Другим», Кто был послан впоследствии «Ходатайствующим воздыханьями неизреченными» в ожидании конца. Итак, во Христе и через Духа Святого мы приходим к Самому Отцу.

Православное богословие не исходит из доказательств бытия Божия и из обращения людей к философскому деизму; оно ставит их лицом к лицу с Евангелием Иисуса Христа и ожидает их свободного ответа. Их жизнь в Церкви и есть этот ответ.

Часто говорилось, что Восточные Отцы, говоря о Боге, всегда начинают с трех Лиц Божества, чтобы впоследствии доказать их «единосущие», в то время как Запад начинает с единосущия Божия, стараясь в дальнейшем ввести понятие о Трех Лицах. Эти два направления богословия легли в основу древнего спора о Filioque, но они определяют тоже богословскую мысль и в наше время. Бог, в Православном богословии, — это Отец, Сын и Святой Дух — как Лица. Их общая Божественная сущность совершенно непознаваема и трансцендентна, и определяется она лучше всего отрицательными терминами. Но все три Лица, действуя самостоятельно, дают нам возможность принимать участие в Их общей Божественной жизни (или энергии) Крещением «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Новая жизнь и бессмертие становятся подлинной реальностью и переживанием — и это доступно человеку.

III

В настоящее время Православная Церковь включается неизбежным историческим процессом не только в так называемый «экуменический диалог», но, здесь — на Западе, одновременно и в главное русло социальной эволюции.

К сожалению, Православная Церковь не в силах контролировать этот процесс. Признаемся откровенно, что Обще-Православные Сопрошения начались уже после того как Поместные Церкви предприняли решительные шаги в сторону участия в экуменизме, и когда наши Церкви, священники и миряне были уже вовлечены в современные социальные процессы. К тому же, все православное «рассеяние» — («диаспора») и, особенно, Американская церковь, являющаяся теперь органической частью западного общества, на-

ходятся в постоянном обмене мнениями с другими христианами, с атеистами и агностиками, хочет она того или нет. Нам остается только размышлять о совершившемся факте. При этом только здоровое богословское возрождение может помочь избежать новой исторической катастрофы Православия в нашем поколении. Я говорю: «исторической катастрофы в нашем поколении», потому что я верю, что Дух Истины не допустит катастрофы в самой Церкви, как таковой, хотя Он, как и в прошлом, попускал катастрофы в отдельных церквях и даже в целых поколениях христиан. Я совершенно согласен с профессором Кармирисом *), когда он говорит, что те, кто отменяют богословие и заменяют его сентиментальным экуменизмом, избегая при этом так называемых «трудных вопросов», предают подлинный дух Православия. Мы как раз нуждаемся в Богословии — библейском, святоотеческом и современном, и мы тут должны помнить, что именно в спорах с внешним миром — с Евреями, язычниками и еретиками — наши Святые Отцы, апостолы и, наконец, Сам Господь Иисус Христос — выработали свое богословие. Будем подражать им.

Здесь я хочу отметить, что само экуменическое движение переживает период переоценки своих взглядов, и тем дает новые возможности Православию. Как бы грандиозны ни были встречи церковных руководителей, каков бы шум ни поднимали торжественные общие собрания, как умны бы ни были планы церковных политиков, средний образованный христианин все меньше интересуется поверхностным экуменизмом. Консерваторы избегают этих собраний, боясь двусмысленности и компромиссов. Радикалы ими не интересуются, так как, по их мнению, Церковь, как институция, не имеет реального бытия, и они откровенно ожидают ее ликвидации. Следовательно, будущее может лежать только в осмыслении всеми христианами подлинного смысла Евангелия. Единственное прочное и значительное будущее заключается в Богословии и, как я старался показать на моих пяти примерах, именно Православное свидетельство о Боге и человеке является тем, что люди ищут, сознательно или бессознательно.

Православная Церковь и ее богословие должны неизбежно определять себя в двух направлениях: и как традиция и верность прошлому и, одновременно, как ответ на вопросы современности.

*) И. Н. Кармирис, профессор Афинского Университета, произнес речь о современном православном богословии в течение того же Симпозиума в стенах Св. Владимирской Академии.

Обращаясь к настоящему времени, Церковь, по моему мнению, должна бороться против двух опасностей:

1) считать себя **одной** из равных по благодати «церквей» (denominations),

2) утверждаться в своей **изоляции**, как делают секты.

Оба искушения сильны, особенно в Америке. Те, например, кто сливает воедино Православие с национальностью — по необходимости, исключают из членов Церкви и даже из области церковных интересов всех и все, что не принадлежит к их собственной этнической традиции. Общее между этими двумя направлениями — это их исключительность: в первом — релятивизм, считающий себя как бы одной из возможных форм христианства и, следовательно, отказывающийся от миссионерства, во втором — удовольствие — поистине демоническое — в изоляции, в отличии, в отделении, в комплексе превосходства.

Мы все знаем, что **оба** эти течения наблюдаются в американском православии. И роль православного богословия состоит в том, чтобы осудить и уничтожить их. Одно только богословие, соединенное с любовью, с надеждой, смирением и другими чертами подлинного христианского поведения может помочь нам познать и полюбить нашу Церковь, в ее подлинной кафоличности.

Кафолическая церковь, как мы знаем, не только «универсальна». Она — истина, не только в том, что она «обладает истиной», но и в том, что она радуется, встречая истину у других. Она существует для всех людей, не только для тех, кому посчастливилось быть ее членами сегодня. Она готова всегда служить всякому преуспеванию в добре. Она страдает всюду, где видит заблуждения и разделения, и не выносит компромиссов в вопросах веры, и в то же время она бесконечно сострадательна и терпима к человеческой слабости.

Такая Церковь — не продукт человеческого творчества или организации. Она попросту не могла бы существовать, если бы нам одним была предоставлена забота о ней. К счастью, от нас требуется только быть верными членами Ее Божественного Глав, по словам св. Ириней: «Где есть Церковь, там Дух Божий; а где Дух Божий — там Церковь и всяческая благодать; но Дух есть Истина» (Adv. Haer. 3, 24,1).

РАЗМЫШЛЕНИЕ НАД ОДНИМ ТЕКСТОМ¹⁾

«Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе?»

Иоанн 21,22.

Уже было замечено (Хомяковым), что Евангелие от Иоанна имеет как бы два окончания: в главе 20-й и в главе 21-й. В 20-й главе последние слова звучат так, что кажется несомненным желание Евангелиста именно здесь и закончить книгу своего благовествования. «Много сотворил Иисус и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (20-30,31).

Так может звучать только окончание большого богословского аккорда, начало которого в первой главе: «В Нем была жизнь... верующим во имя Его» (1-4,12). Казалось бы, что Иоаннов благовест о Боге, ставшем человеком, о Вечности, соизволившей уместиться в немощном человеческом теле, окончен. Но промышленением Божиим написана и 21-я глава. В ней открывается нам о восстановлении в апостольстве Петра, и в ней же дано откровение о дальнейшей судьбе Петра и Иоанна. Дав это откровение, Евангелист и заканчивает все Евангелие, причем для этого окончания почти повторяет смысл окончания, уже данного в главе 20-й: «Многое и другое сотворил Иисус»... (Там было: Много сотворил Иисус и других чудес...). Это повторение только подчеркивает особое назначение всей 21-й главы.

О судьбе Апостола Иоанна Христос говорит Петру так: «Если Я хочу, чтобы он (Иоанн) пребыл, пока приду, что тебе? ты иди за Мною» (21-22). Попытку разумения этих слов, может быть, надо начинать с «что тебе». Каждый из нас должен идти за Христом независимо от судьбы кого бы то ни было другого, независимо от судьбы даже такого великого Апостола, как Иоанн, независимо даже от конечных судеб Церкви. Наша забота о других и о Церкви должна раствориться в нашей доверии к всеобъемлющей заботе Божией. Как говорили Отцы, надо жить так, как если бы кроме меня и Бога не было на земле никого. Но ан-

(1) Рукопись неизвестного автора, полученная из Сов. России.

тиномичность христианства познается и здесь. Из миллионов отдельных духовных жизней образуется вселенская Церковь — святое единство спасаемого человечества, — и ее общая великая жизнь обратным эхом звучит в пустыне каждой отдельной души, чудодейственно делая ее малой и блаженной церковью. Вот почему к каждой жизни, а не только ко всей Церкви, относятся слова одной молитвы: «процвела есть пустыня, яко крин, Господи, языческая неплодящая церковь, пришествием Твоим». И вот почему откровение о судьбе одного из верховных апостолов не может не быть для нас значительным.

«Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду»... Что Господь говорит здесь («пока приду») о Своем втором пришествии, это совершенно очевидно. И тогда возникает вопрос: почему Ему было угодно для ответа Петру избрать именно эту необычную форму, вместо такой, которая никогда бы не вызвала последующее смущение и толки учеников: «и пронеслось слово сие в братии, что ученик сей не умрет». Почему Господь не сказал: «пока он будет нужен Церкви», или «дольше тебя», или «много лет», или еще как-нибудь? Он сказал: «пока приду», а в Евангелии не может быть случайности.

«Если Я хочу»... Не сказал: «если бы Я захотел»... Слова даны не как маловероятное предположение сослагательного наклонения, с частичкой «бы», а как возможность направления воли Христовой.

«Если Я хочу» повторено тут же еще раз: отвергнув ошибочное предположение, что Апостол вообще никогда не умрет, или, точнее, — отвергнув предположение, что Христос сказал об этом его неумирании, Евангелие вторично и буквально повторяет: «Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду»... Этими словами о судьбе Иоанна и заканчивается, по существу, Евангелие от Иоанна, и, тем самым, все благовествование четырех Евангелистов.

Необходимо вспомнить отношение Слова Божия к смерти. Смерть есть общий закон: «земля еси и в землю отыдеши». Но и этот закон может как-то видоизменяться. О людях в момент второго пришествия Апостол пишет: «мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, **оставшиеся в живых** (перед этим уже было в стихе 15: «мы живущие, оставшиеся»), вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу». (I Фес. 4-16,17). И еще в другом месте и при этом еще более ясно: «**не все умрем, но все изменимся**» (I Кор. 15-52). Очевидно, для вхождения в будущую

жизнь тогда — при конце этого мира — будет достаточно какого-то «изменения», огненного крещения в смерти не индивидуальной, а в смерти всей мировой истории. Но если в свете Слова Божия для нас не должен быть невероятным факт избегания даже самой смерти, то почему нам так невероятно возможность особого долголетия? И если некоторые ветхозаветные праведники — Ной, Мафусаил и другие — жили почти тысячелетие, то почему необычная длительность жизни невозможна в Церкви Новозаветной?

Мысль о том, что «Апостол Церкви» Иоанн, хотя и умрет («не сказал, что не умрет», 21-23), но все еще жив, по особому промыслению Божию о Церкви, отразилось прежде всего в его житии.

Мы не обязаны принимать на веру каждую деталь жития святых, особенно первых, более отдаленных веков Церкви, так как среди этих житий несомненно есть много той сказочной и совсем ненужной для веры настойчивой чудесности, с которой боролся св. Дмитрий Ростовский.

«Род сей знамения ищет»... Достаточно прочесть одну из немногих уцелевших подлинных мученических записей первых веков, например, св. Дионисия Александрийского, чтобы благочестивое приукрашение чудесами мученических житий позднейшими авторами сделалось бы явным и, надо сказать, неблагочестивым. Правда о Церкви всегда и нужнее и светлее всякого героического преукрашения. Но в житии Апостола единственно необычным фактом является отсутствие описания смерти и замена его описанием погребения Апостола еще живого, «самопогребением», по выражению св. Епифания Кипрского. Самопогребение живого Апостола дополнено указанием, что никто и после погребения не видел в земле его тела, несмотря на попытку увидеть: могила, открытая после погребения, оказалась пуста. Что это? — отголоски того, что «пронеслось слово сие в братии, что ученик тот не умрет», или же запись подлинного факта? На вторую возможность указывают богослужебные тексты.

В стихирах на «Господи воззвах» службы Апостола 8 мая мы читаем: «Апостолов верховного, духовного воина, вселенную Богу покорившего, приидите вернии, ублажим Иоанна приснопамятного, от земли восстающего и земли неотступающего, но жива суца и ждущего страшного владычного второго пришествия». «Восстание от земли» — так, очевидно, называется здесь факт исчезно-

вения из могилы тела человека, «жива суца» и «земли неотступающего». Здесь дана и цель этого «восстания» — чтобы со всей на земле Церковью «ждать страшное владычнее второе пришествие». Слова «жива суца», а также слова из службы 26 сентября «не умер — преставился» (светилен) трудно толковать иносказательно, в смысле «неумирания в Боге» или «вечной жизни в Нем», в связи с контекстом жития.

Еще более определенно о факте продолжения жизни Апостола говорится в «слове на неделю мясопустную», относимом к св. Ипполиту Римскому: «Перваго Его (Христового) пришествия Иоанна Крестителя имеяше Предтечу, второго же Его, в нем же хочет приити со славою, Еноха, Илию и Иоанна Богослова явити хошет... и зверь, восходяй от бездны, сотворит с ними брань, сиречь с Енохом, Илиею и Иоанном и победит их» («Сборник, сие есть собрание слов нравоучительных и торжественных»). Можно приводить доводы за или против того, что это слово действительно принадлежит св. Ипполиту, но нельзя никак сомневаться в том, что в течение столетий оно было в недрах Церкви, читаемое с церковного амвона.

«Чашу мою будете пить, и крещением Моим будете креститься» — сказал Господь двум братьям: Иакову и Иоанну. Именно мученическая смерть воспринимается обычно как причастие к Чаше Христовой. О мученической смерти Иакова мы знаем из Деяний. Но где насильственная смерть апостола Иоанна? Была ли она или еще только будет «от зверя, выходящего из бездны»?

«И взял я книжку из руки Ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих» (Ап. 10-10, 11). Когда, после написания Откровения, «опять пророчествовал» Апостол, или когда ему еще раз предстоит пророчествовать?

Если Апостол еще не умер, то его незримое пребывание в земной Церкви может сделаться зримым или явным в тот последний период ее жизни, когда ей в исключительной степени будет нужна именно апостольская святость и власть.

Вживаясь в Евангельское раскрытие облика Апостола, мы чувствуем, что именно в его душевных качествах может особенно нуждаться Церковь. Эти качества условно можно свести к трем: к мужеству, зрению и любви.

Церковь есть стояние у Креста. Много мужества души нуж-

но иметь всякому человеку, чтобы не уйти от этого страшного, хоть и блаженного стояния. Но сколько же мужества надо было иметь, чтобы стоять у Креста Голгофского, в Иерусалиме, в тот час, когда текущая кровь Христова, созидавая Церковь, вызывала в то же время всю ненависть враждебного мира и видимого и невидимого? Ведь страшна не смерть, а ненависть смерти, тем более та, которая бушевала тогда на Голгофе. И вот, из всех Апостолов только один Иоанн показан нам стоящим у Креста до последней минуты. Но духовное мужество только тогда ценно, когда оно соединено с духовным зрением, знанием, различением духовного мира, его ведением, когда оно основано не на экзальтации, а на трезвости зоркого духа. Именно таким и дает нам Апостола Евангелие. На Тивериадском озере, после воскресения, ученики не смогли узнать стоящего на берегу Христа. «Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь» (Ин. 21-7).

Духовное зрение есть познание Бога, Богословие, и Иоанн имеет как бы второе личное имя — «Богослов». Именно он «брат наш и соучастник в печали и в царстве и в терпении Иисуса Христа» (Ап. 1-9). Он, зритель тайн Божиих, увидел воочию на острове Патмос промышление Божие о мире и Церкви. Символ его — всевидящий и всемогущий орел. При этом, мы знаем, что ему было дано познавать или видеть не только свет, но и тьму. «Он, припадши к груди Иисуса, сказал Ему: Господи, кто это? (кто предаст Тебя?). Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искарриоту» (Ин. 13-23,26).

Что особенно важно для Церкви, Апостол увидел не вообще зло или тьму, а тьму еще внешне не отлученную от света, находящуюся формально еще как бы в единстве со светом. Иуда сидел как бы равноправно на Тайной вечери и даже уже после его ухода с нее на предательство, прочие Апостолы ничего не подозревали и думали, что он пошел купить что-нибудь к празднику, или раздавать нищим. Знаменательно, что в 20-м стихе последней главы Евангелия эти слова: «Господи! кто предаст Тебя?» повторяются еще раз и именно для духовной характеристики Апостола Иоанна: «Петр видит ученика, ...который на вечере сказал: «Господи! кто предаст Тебя». И после этого в следующих стихах (в 21-м и 22-м) мы и находим разговор Господа с Петром о судьбе Иоанна: «если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду».

Очевидно, в последние времена ложное христианство и лож-

ная церковность будут так сильны, что различать тьму от света, Церковь от не Церкви, можно будет только «припадши к груди Иисуса», в неусыпающем подвиге любви.

Но о ком же из других Апостолов сказано, что он «Апостол Любви»? И не учит ли нас Слово Божие и отцы, что только любовь рождает знание, духовное зрение, как она же рождает и неумирающее мужество души. Только любовь сильнее смерти, и только она есть «совокупность совершенства», так необходимого для водительства Церкви.

Но одно дело благодатное водительство Церкви и другое — создание иерархического культа, характерного для ложной церковности. Ученики Христовы установили в Церкви священную власть епископов не для пышных титулов и полуязыческих церемоний, не для превозношения, и не для того, чтобы мы забыли слова: «не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья» (Мтф. 23-8), а для благодатного руководства и упорядочения церковной жизни. Цель проста и осуществление ее совершалось в первые века просто, пока «уклонение от простоты во Христе» не повело церковный корабль в обмирщение. Если в VI веке Григорий Двоеслов, священный папа Римский, отказываясь от титула «Вселенский», с возмущением говорил: «да удалятся слова, надмевающие тщеславие и оскорбительные для любви», то дальнейшая история Церкви пошла по другому пути.

Но ведь одно только предположение возможности пребывания на земле, где-то в недрах Церкви, еще не умиравшего Апостола, того самого, кто, не имея никаких титулов, был с Христом на горе Преображения и на Тайной вечери, — сметает всякий соблазн ложного иерархического пафоса. В свете этого предположения непонятны и мучительно досадны все споры о первенстве Рима над Византией, или наоборот, в свете его все становится на свое место, делается простым, настоящим и первохристиански-серьезным. Истинная епископская власть везде там, где она неотрывна от истинной апостольской святости. Если же, наоборот, мы совершенно отвергнем это предположение, то останемся лицом к лицу с одним страшным и знаменательным фактом: чем «святее» титулы и пышнее иерархическая внешность церковной истории, тем все меньше на Апостольских престолах людей Апостольского зренья, мужества и любви, первохристианской святости и веры, тем все больше среди духовенства людей равнодушных к вере или просто неверующих. Недаром уже во II веке преп. Симеон Новый Бого-

слов говорил: «ищем и берем на себя достоинство Апостольское, не имея благодати Апостолов и не видя в себе плодов благодати Святого Духа».

В одной книжке «о последних событиях, имеющих совершиться в конце мира», изданной в прошлом столетии Оптиной пустыню, вместе с напоминанием обетования Христа о непобедимости Церкви — Невесты Христовой, было сказано так: «Церковь падшая и мир падший, ложное христианство и антихристианство, — таковы два явления, которыми окончится история греха». Рядом с Церковью — Невестой Христовой, существует в истории под общими церковными сводами ее темный двойник. И вот, чем глуше и темней будет становиться церковная жизнь («Когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле»), тем все сильнее будет в Церкви ожидание явного руководства, слышимых слов того Апостола, который, как он сам о себе сказал, «слышал и видел своими очами Слово жизни, рассматривал Его и осязал своими руками» (I Ин. 1).

Может быть, только такие непорочные руки смогут в те времена «умножения беззакония» и последнего смятения управить корабль Церкви. Может быть, во время последней Голгофы Церкви снова прозвучат с Креста слова Учителя: «Се Мати твоя», и апостол снова, как тогда в Иерусалиме, явно и зримо «возьмет ее к себе», явно примет на себя окормление и хранение Церкви.

Жезл есть символ власти. «И дана — пишет о себе Апостол — мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань, и измерь храм Божий и жертвенник и поклоняющихся в нем» (Ап. 11 - 1). И это будет вторая и последняя апостольская эпоха Церкви. Ей, аминь.

ГОСПОДЬ ГОВОРИТ ЧЕЛОВЕКУ*)

(Из наставления иеросхимонаха Серафима, сентябрь 1937 г. с добавлением старца Никодима Афонского).

Думал ли ты когда-нибудь, что все касающееся тебя, касается одинаково и Меня, ибо все касающееся тебя, касается зеницы ока Моего.

Ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, и потому для Меня составляет особую отраду воспитывать тебя.

Когда искушения восстанут для тебя, и враг придет как река, Я хочу чтобы ты знал, что **от Меня это было**, что твоя немощь нуждается в Моей силе и что безопасность твоя заключается в том, чтобы дать Мне возможность бороться за тебя.

Находишься ли ты в трудных обстоятельствах среди людей, которые тебя не понимают, которые не считаются с тем, что тебе приятно, которые тебя отстраняют, **от Меня это было**.

Я — Бог, располагающий обстоятельствами. Ты не случайно оказался на твоём месте: это то самое место, которое Я тебе назначил.

Не просил ли ты, чтобы Я научил тебя смирению, так вот смотри: Я поставил тебя как раз в ту среду, в ту школу, где этот урок изучается. Твоя среда и живущие с тобою только выполняют Мою волю.

Находишься ли ты в денежном затруднении, тебе трудно сводить концы с концами, — **от Меня это было**; ибо Я располагаю твоими материальными средствами. Я хочу, чтобы ты прибегал ко Мне и был бы в зависимости от Меня. Мои запасы неистощимы. Я хочу, чтобы ты убеждался в верности Моей и Моих обетований. Да не будет того, чтобы тебе могли сказать о нужде твоей: «вы не верили Господу Богу вашему» (Второзак., VIII, 12-13).

Переживаешь ли ты ночь скорбей; ты разлучен с близкими твоими — **от Меня это было**. Я муж скорбей, изведавший болезни.

*) Рукопись этой молитвы, составленной в страшный 1937 г., получена из России. Личность составителя нам неизвестна. РЕД.

Я допустил это, чтобы ты обратился ко Мне и во Мне мог найти утешение вечное.

Обманулся ли ты в друге твоём, в ком-нибудь, кому открыл сердце свое, — **от Меня это было**. Я допустил этому разочарованию коснуться тебя, чтобы ты познал, что лучший друг твой есть Господь.

Я хочу, чтобы ты все приносил ко Мне и говорил бы Мне.

Наклеветал ли кто на тебя. Предоставь Мне это дело и прильни ближе ко Мне, убежищу твоему, чтобы укрыться от «пререкания языков». Я изведу, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.

Разрушились ли планы твои, поник ли ты душой и устал — **от Меня это было**. Ты создавал себе свои планы и принес их Мне, чтобы Я благословил их. Но Я хочу, чтобы ты предоставил Мне распоряжаться обстоятельствами твоей жизни, и тогда ответственность за все будет на Мне, ибо слишком тяжело для тебя это, и ты один не сможешь справиться с ними, так как ты только орудие, а не действующее лицо.

Посетили ли тебя неожиданные неудачи житейские, и уныние охватило сердце твое, — знай — **от Меня это было**. Ибо я хочу, чтобы сердце твое и душа твоя были всегда пламенеющими перед очами Моими и побеждали именем Моим это душевное малодушие.

Не получаешь ли ты долго известий от близких и дорогих тебе людей и по своему малодушию впадаешь в отчаяние и ропот — **от Меня это было**. Ибо этим томлением твоего духа Я испытываю крепость твоей веры в непреложность обетования, силу дерзновенной своей молитвы о сих близких тебе. Ибо не ты вручил их Покрову Матери Моей Пречистой, не ты ли некогда возлагал заботу о них Моей промыслительной любви.

Посетила ли тебя тяжелая болезнь — временная или неисцелимая, — и ты оказался прикованным к одру своему, знай, что **от Меня это было**. Ибо Я хочу, чтобы ты познал Меня еще глубже в немощах своих телесных и не роптал бы за это неисполненное тебе испытание, не старался бы проникать в Мои планы спасения душ человеческих различными путями, и безропотно и безвольно преклонил бы шею свою под благодать Мою к тебе.

Мечтал ли сотворить какое-либо особенное дело для Меня и вместо того слег на одр болезни и немощи — **от Меня это было.**

Тогда ты был погружен в свои дела, и Я не мог бы привлечь мысли твои к Себе, а Я хочу научить тебя самым глубоким мыслям, что ты — на службе Моей. Я хочу научить тебя, что ты — ничто.

Некоторые из лучших соратников Моих суть те, которые отрезаны от живой действительности, чтобы им научиться владеть оружием непрестанной молитвы.

Призван ли ты неожиданно занять трудное и ответственное положение. Иди, полагаясь на Меня. Я вверяю тебе эти трудности, ибо за это благословит тебя Господь Бог во всех делах твоих, во всем, что будет делаться твоими руками.

В сей день даю в руку твою этот сосуд священного елея. Пользуйся им свободно, дитя Мое. Каждое возникающее затруднение, каждое оскорбляющее тебя слово, каждая помеха в твоей работе, которая могла бы вызвать в тебе чувство досады, каждое откровение твоей немощи и неспособности — пусть будут помазаны этим елеем.

Помни, что всякая помеха есть Божие наставление.

Всякое жало притупится, чтобы не коснулось тебя. А потому и положи в сердце своем слова, которые я объявил тебе сегодня: **От Меня это было.**

Ибо это не пустое для тебя, но **это жизнь твоя.**

Что же мне, недостойному, сказать на все это? И остается мне только повторить слова апостола Павла: «Ибо все из Него, Им и к Нему, Ему слава во веки». Аминь.

А. БОРМАН

ПАМЯТИ А. В. ТЫРКОВОЙ-ВИЛЬЯМС

(к столетию со дня рождения)

В ноябре 1969 года отмечалась столетняя годовщина Ариадны Владимировны Тырковой-Вильямс. Она родилась в Петербурге 13-го ноября 1869 года (ст. стиля) и скончалась в Вашингтоне 12-го января 1962 года.

За свою долгую жизнь эта замечательная русская женщина ярко проявила себя в разных областях жизни. Она была журналисткой, писательницей, до революции ездила по всей России и читала лекции, выступала на общественных собраниях и председательствовала на них, занимала видное положение в самой большой русской либеральной партии — Народной Свободы, которая выставила ее кандидатуру в Учредительное Собрание. Вероятно, она не была выбрана, однако этого нельзя сказать определенно, потому что все выборное делопроизводство было уничтожено большевиками.

Летом 1917 года, при Временном Правительстве, Ар. Вл. Тыркова была избрана гласной в Петроградскую городскую думу, где фактически была лидером партии Народной Свободы, занявшей самый крайний фланг — большинство думы состояло из представителей социалистических партий. В 1918 году А. В. Тыркова вместе со своим мужем, видным английским журналистом Гарольдом Вильямсом, и дочерью покинула Россию. Они основались в Лондоне, где их дом стал одним из англо-русских центров. Потеря мужа в 1928 году была огромным ударом для Ар. Вл., и только благодаря своей железной воле и чрезвычайной жизненной энергии она не рассыпалась на куски (по ее собственному выражению).

Вторую мировую войну Ар. Вл. провела с семьей сына под Греноблем, а потом с его семьей переехала в Америку.

В России Ар. Вл. опубликовала несколько романов и много рассказов. Затем она увлеклась историческими исследованиями. В 1915 г. в Петрограде вышла ее книга «А. П. Философова и ее время», посвященная деятельнице женского образования в России. Приехав в Англию, она написала историю первого года русской революции по-английски, озаглавив ее «From Liberty to Brest-Litovsk». Она выпустила вне России несколько книг по-русски и по-английски. Но главным трудом ее жизни была двух-

томная биография Пушкина — «Жизнь Пушкина», над которой она работала много лет.

Ариадна Владимировна любила людей и умела привлекать их к себе. В разные периоды своей жизни, где бы она ни была, вокруг нее всегда собирались люди — писатели, политические деятели, потом, в эмиграции, — духовенство, русские генералы и рядовые офицеры, а также англичане всех положений начиная от епископов, высоких чиновников и политиков и до маленького учителя. У нее был особый дар оживлять разговор и делать его значительным.

Ар. Вл. в течение своей долгой жизни прошла длинный духовный путь, поднимаясь все время ввысь.

В молодости, следуя за духом времени, она была, по ее словам, позитивисткой, а скорее, просто не думала о религии, или была а-церковной. Возможно, что первым толчком для возвращения ее к религии была молитва о. Иоанна Кронштадтского, которую она слышала в имени своего отца, где кронштадтский батюшка провел три дня, приглашенный на освящение местной сельской церкви.

В ее воспоминаниях об этой молитве о. Иоанна говорится: «И дрогнуло что-то у меня в сердце, но не хватило ни мужества ни ума, ни чего-то другого, чем познается молитва. Только один шаг преступила я тогда...»

Она рассказывает, как потихоньку ото всех ходила в часовню при Домике Петра Великого в Петрограде и молилась там Спасителю.

Уже вне России, в Англии, она постепенно начала втягиваться в ритм православной жизни, все больше и больше принимая к сердцу интересы Церкви. Ар Вл. становится участницей съездов объединения Св. Сергия и Св. Албания. В ее доме собирались русское духовенство, профессора и студенты Сергиевской Академии. Митр. Евлогий всегда посещал ее, когда бывал в Лондоне. В ее доме состоялась первая встреча митр. Евлогия с митр. Анастасием (после раскола). Она была в дружеских отношениях с о. Сергием Булгаковым и А. В. Карташевым. Настоятель лондонского прихода о. Николай Бер постоянно посещал ее и очень много сделал для укрепления ее православного сознания.

С каждым годом Ар. Вл. все прочнее связывала себя с православной церковью, вне которой жизнь уже теряла для нее свой смысл. Причастие всякий раз духовно-радостно волновало ее. Последний раз она причастилась накануне своей кончины.

Ниже мы приводим несколько выдержек из ее писем, помещенных ее сыном Аркадием Борманом в его книге «А. В. Тыркова-Вильямс, по ее письмам и воспоминаниям сына».

На Рождество 1922 г. она пишет:

«Легче всего и яснее думать в церкви, оттого в большие праздники особенно тянет в церковь».

6-го марта 1929 г. она писала сыну из Лондона в Париж:

«Я читаю новую книгу Булгакова об ангелах. Она меня волнует той страстной верой, нет скорее видимой уверенностью в потусторонний мир. Он точно открывает окно и показывает небесные просторы, где серафимы и херувимы».

5-го мая 1929 г.:

«Воистину Воскресе, дорогой мой Аркадий. Все это время тебе как-то писала наспех. Хотя выстаивая долгие службы, часто думала о тебе. Службы на Страстной, это глубокая мистерия. Слушаешь, точно какие-то завесы раздвигаются».

10-го мая 1931 г.:

«Утром провела полтора часа в церкви. Конечно, самый скучный, бледный, неуклюжий христианский священник, если только в нем мерцает вера, мне сейчас ближе самого блестящего неверующего социалиста».

«Стоишь у обедни, как гость в доме Господнем» (3/V/34).

«Это время больше была в церкви. Какая красота и спокойствие, и какие мы глупые, что латошимся из-за пустяков, когда нам дано такое богатство...» (8/IV/36).

«Молиться не легко, этому тоже надо учиться, но даже слушать молитву успокоительно» (13/IX/37).

4-го апреля 1947 г. она писала своей внучке Наташе из Франции в Америку:

«Дорогая моя Наташа, Христос Воскресе. Поздравляю тебя со Светлым Праздником. Точно какие-то веяния из мира невидимого струятся вокруг нас. И так тепло вспоминать длинный ряд пасхальных торжеств... Слава Богу, что мы все равно радуемся, что Воскресение Христово нас к нему приблизило, дало нам грешным и маленьким какие-то на него права. Мы дети его».

Тоже к внучке Наташе 17-го октября 1953 г. из Нью-Йорка в Кэмбридж, около Бостона:

«...Ну, а я без них поехала к обедне. Эти полтора часа, что я в воскресенье провожу в церкви, самое полное, светлое и бога-

тое время моей недели. Прошу святых нам помочь, нас научить, нас пожалеть. Складываю к их ногам груз жизни, который каждому из нас иногда представляется непосильным, и верю, что дадут они облегчение. Так много кругом боли, несчастья; что бы люди делали без невидимых защитников».

Приводим также несколько неопубликованных ее записей, любезно предоставленных нам ее сыном:

12-го августа 1923 г.:

«Молилась в церкви. Просила, чтобы опять явил нам скрижали. Смутно в мире. Добро и зло сплетаются, качаются. Как же жить, чего ждать? И, как всегда, главная молитва за Россию».

19-го января 1924 г.:

«Первый поклон в церкви всегда за маму. И сразу чувствую ее, вижу, дыхание ее слышу. Словами говорю: «Господи, спаси и сохрани. Дай ей силы, дай ей ясность. Избави ее от нового горя. О матерьяльном не молю. Но пусть идет к ней моя любовь и окружает ее и греет».

И мне легче становится. Отходит малодушие. Знаю, что надо крепиться.

Вторая молитва о детях. «Господи, спаси и сохрани. Огради маленьких. Большим дай силу идти через жизнь. И то стремление к добру, которое есть в них, сохрани. Пусть не гаснет оно ни от трудностей жизни, ни от всего, что видят кругом».

Слова бедные, но, стоя в церкви, чувствую, как тихо направляется душа. Слушаю молитвы. Может быть не надо молиться своими словами, а только слушать, идти за молитвенным вдохновением христиан поэтов, создавших богослужение и весь неисчерпаемый мир молитв.

Но так хочется поговорить с любимыми и нигде нельзя так близко к ним подойти, как в церкви, стоя на коленях, глядя на знакомые лица святых.

И Россия тут, близко, сливается со всем, что любишь».

5-го октября 1924 г.:

«Молилась, как всегда, чтобы дал Бог веру подлинную, без мудрости. Просто в руки Твои предаю себя. Думала, нет еще во мне веры, а только тоска по вере. Поправилась — не тоска, а надежда. Когда по-настоящему строится душа в молитве, не тоска, а радость ведет ее. А что если это и есть вера?»

Нет. Еще далеко. И не может быть иначе — стукнет кто-то громко мне в сердце и всколыхнет огонь, как молния.

Вот если бы только этим ожиданием жить.

В церкви Тата (внучка) бросилась ко мне и все прижималась и держалась, Адя (сын) думал, что она мне мешает. Но если бы ребенок, да еще близкий, любимый, отгонял молитву — какая же это молитва? К детской душе Христос ближе всего. Где любовь, там и Бог.

А что это только русская поговорка, или общая?»

6-го декабря 1925 г.:

«В церковь надо ходить, чтобы хоть на несколько мгновений сосредоточиться на самом главном, припасть к Кресту. В жизни, в мыслях, в чувствах, в делах, в смерти, как понять пути Господни? Как в горах по обрывам, среди голых камней, протоптаны тропинки, прекращаются, обрываются. А там стоишь и просишь. Как мало думаем мы о смысле слов.

Вдохновение. Ведь тут уже сказано, что дыханием чьим-то расширяется душа, объятая вдохновением. Тут трепет духа не моего, а извне со мной соприкоснувшегося. Кто-то пришел и постучал. Или не стуча вошел в душу как хозяин.

Отчего раньше никто не объяснил мне, не показал, сколько вдохновения, сколько художественной красоты, творчества в богослужении, в молитвах? Или я, как Толстой, не хотела понимать?»

Еще слово. Сердце вещун. Не ум, т. е. не мозги, а именно сердце. Конечно, сердце думает, бывает глупое и умное. А вещие, мудрые мысли только от сердца исходят. Но как научить свое сердце думать? Тут логика Стюарта Милля не поможет».

21-го февраля 1926 г.:

«Была в церкви. Я теперь ставлю свечку Серафиму и Николаю Угоднику. Они рядом висят. Николу ставлю и молюсь за Землю Русскую, за народ русский, за Православную церковь. Я не читала его жизни, но мне думается, что он Устроитель и Заступник, за Державу, за земное устройство. Ведь Церковь не только на небе, но и на Земле. Серафима прошу о себе, о близких, о маленьких (внучках). И еще отдельно, чтобы научил молиться. Верю в его радость».

СУДЬБЫ РОССИИ

Свящ. Сергей ЖЕЛУДКОВ *)

К РАЗМЫШЛЕНИЯМ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СВОБОДЕ

ОТВЕТ АКАДЕМИКУ А. Д. САХАРОВУ **)

Глубокоуважаемый Андрей Димитриевич!

Наконец-то и мне удалось прочитать Ваши «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Я прочитал Вашу работу с величайшим интересом, с восхищением, с благодарностью. Вы приглашаете к дискуссии, и я решаюсь Вам ответить. Поставленные Вами проблемы таковы, что обсуждать их никогда не поздно — до тех пор, пока они не будут на деле разрешены. Меня наиболее интересует проблема, которая имеет самое главное, религиозное значение — проблема интеллектуальной свободы.

Боюсь, что полученный мною текст — не окончательная редакция. Во избежание недоразумений, а также для тех, кто не знает Вашего замечательного документа — охотно буду обильно его цитировать.

*
**

В свое время какой-то лстец напечатал для общего вразумления, что два самых великих открытия XX века — это атомная энергия и сталинская конституция. «Отец водородной бомбы» — Вы с наибольшим знанием дела показали, что если будет и дальше продолжаться разобщенность человечества, взаимное недоверие, вражда, — первое из величайших изобретений приведет к величайшему абсурду — к апокалипсическим ужасам и физической гибели человечества. Второе изобретение — это система

*) Свящ. Сергей Желудков, автор ряда аполитических статей. См. «Вестник» Р.С.Х.Д.

**) Академик Сахаров, знаменитый физик, — автор трактата, призывающего СССР и США объединиться против бедствий угрожающих современному человечеству. В СССР трактат Сахарова распространяется самиздатом, на Западе он был опубликован в изд. Посев в 1968 году.

управления, в которой духовная жизнь человека всецело, тотально подчинена государственной власти. Историческая практика пока что показала, что тоталитарные системы выдерживают любые внутренние напряжения, без военной победы над ними извне несокрушимы — и в этом смысле действительно являются величайшим изобретением нашего века. Но вместе с этим уже достаточно ясно и то, что второе величайшее изобретение приводит к своему абсурду — к культурному вырождению и духовной гибели... Цитирую из середины Вашу характеристику одного величайшего такого абсурда:

“В последние годы стихия демагогии, насилия, жестокости и подлости вновь овладела великой страной, вставшей на путь социалистического развития. Я говорю, конечно, о Китае. Нельзя без ужаса и боли читать о массовой заразе антигуманизма, который насаждает “великий кормчий” и его соратники, о хунвейбинах, которые по сообщению китайского радио “прыгали от радости” во время публичной казни “врагов идей председателя Мао”. Идиотизм культа личности принял в Китае чудовищные, гротескно-трагикомические формы с доведением до абсурда многих черт сталинизма и гитлеризма. Но этот абсурд оказался эффективным средством для оболванивания десятков миллионов людей, для уничтожения и унижения миллионов более честных и умных”...

Благодарение Богу, мы уже только вспоминаем о германском фашизме. Дальше цитирую по порядку:

“Фашизм в Германии просуществовал 12 лет. Сталинизм в СССР — вдвое больше. При очень многих общих чертах есть и определенные различия. Это гораздо более изощренный наряд лицемерия и демагогии, опора не на откровенную людоедскую программу, как у Гитлера, а на прогрессивную, научную и популярную среди трудящихся социалистическую идеологию, которая явилась очень удобной ширмой для обмана рабочего класса, для усыпления бдительности интеллигенции и соперников в борьбе за власть, с коварным и внезапным использованием механизма цепной реакции пыток, казней и доносов, с запугиванием и оболваниванием миллионов людей, в большинстве своем не трусов и не дураков. Эта “специфика” сталинизма имела одним из своих следствий то, что самый страшный удар был нанесен против советского народа, его наиболее активных, честных и способных представителей. Не менее 10-15 миллионов советских людей погибли в застенках НКВД от пыток и казней, в лагерях для ссыльных кулаков и так называемых “подкулачников” и членов их семей, в лагерях “без права переписки” (это были фактически прообразы фашистских лагерей смерти, где практиковались, например, массовые расстрелы заключенных из пулеметов при “перенаселенности” лагерей и при получении “специальных указаний”), в холодных шахтах Норильска и Воркуты от холода, голода и непосильного труда на бесчисленных

стройках, лесозаготовках, каналах, просто на перевозках в заключенных вагонах и в затопленных трюмах "кораблей смерти" Охотского моря, при переселении целых народов — крымских татар, немцев Поволжья, многих кавказских народов.

Сменялись временщики (Ягода, Молотов, Ежов, Жданов, Маленков, Берия), но антинародный режим Сталина оставался все таким же свирепым и в то же время догматически ограниченным, слепым в своей жестокости.

Уничтожение военных и инженерных кадров перед войной, слепая вера в "разумность" собрата Гитлера и другие истоки национальной трагедии 1941 года хорошо освещены в книге Некрича, в записках генерал-майора Григоренко и в ряде других публикаций — это далеко не единственный пример этого сочетания преступлений и преступной ограниченности, недалёковидности"...

В этой ужасающей исторической справке Вы не упомянули еще о преследованиях и истреблении русской интеллигенции, монашества, духовенства. Здесь много светлых имен и за ними неисчислимое множество безвестных русских мучеников Двадцатого века... После небольшого пропуска продолжаю цитировать:

"Сейчас наша страна вступила на путь самоочистки от скверны сталинизма. Мы "по капле выдавливаем из себя раба" (выражение А. П. Чехова), приучаемся выражать свое мнение, не глядя в рот начальству и не боясь за собственную жизнь.

Начало этого трудного и далеко не прямолинейного пути, по-видимому, следует датировать докладом Н. С. Хрущева на XX-м съезде КПСС: это смелое, неожиданное для бывших соратников Сталина по преступлениям выступление и ряд соответствующих мероприятий — освобождение сотен тысяч заключенных и их реабилитация, шаги по восстановлению принципов мирного сосуществования, шаги по воссозданию демократии, — все это заставляет очень высоко ценить историческую роль Н. С. Хрущева, несмотря на ряд допущенных им в последующие годы досадных ошибок волюнтаристского характера и несмотря на то, что при жизни Сталина Хрущев, конечно, являлся одним из соучастников его преступлений, занимая ряд достаточно крупных постов.

Разоблачение сталинизма в нашей стране далеко до окончания. Конечно, абсолютно необходимо опубликование всех имеющихся достоверных материалов (в том числе архивов НКВД), проведение всенародного расследования. Для международного авторитета КПСС и идей социализма было бы весьма целесообразным намечавшееся в 1964 г., но "почему-то" отмененное символическое исключение из КПСС Сталина — убийцы миллионов ее членов *) и политическая реабилитация всех жертв сталинизма.

*) Лишь в 1936-1939 гг. было арестовано более 1,2 млн. членов ВКП(б) — половина всей партии. Только 80 тыс. вышло на свободу: остальные были замучены при допросах, расстреляны (600 тыс.) или погибли в лагерях.

Только единицы из числа реабилитированных были допущены к работе на ответственных должностях, еще меньше смогли принять участие в расследовании преступлений, свидетелями и жертвами которых они были. В последнее время часто раздаются призывы "не сыпать соль на раны". Такие призывы обычно исходят от тех, у кого не было никаких ран. На самом деле лишь тщательный анализ прошлого и его последствий в настоящем даст возможность смыть всю безмерную кровь и грязь, которые запачкали наше знамя. В обсуждениях и литературе иногда проводится мысль, что политические проявления сталинизма есть "надстройка" над экономическим базисом антиленинского лже-социализма, который привел к формированию в нашей стране особого класса — бюрократической "номенклатурной" элиты, присваивающей себе плоды общественного труда при помощи сложной цепи явных и тайных привилегий. Я не могу отрицать, что какая-то неполная, по моему мнению, доля истины в таком подходе содержится и, в частности, объясняет живучесть неосталинизма, но полный анализ этого круга идей выходит за пределы этой статьи, уделяющей главное внимание другой стороне проблемы"...

После большого пропуска процитирую дальше Ваши высказывания о цензуре и о других преследованиях интеллектуальной свободы, которые мы переживаем сегодня:

"Все мы знаем страстное, глубоко аргументированное обращение по этому вопросу выдающегося советского писателя А. Солженицына. А. Солженицын, Г. Владимов, Г. Свирский и другие писатели, выступившие на ту же тему, ясно показали, что некомпетентная цензура убивает в зародыше живую душу советской литературы; но ведь то же самое относится и ко всем другим проявлениям общественной мысли, вызывая застой, серость, полное отсутствие каких-то свежих и глубоких мыслей. Ведь глубокие мысли появляются **только** в дискуссии, при наличии возражений, только при потенциальной возможности высказать не только верные, но и сомнительные идеи. Но последние 50 лет безраздельного господства над умами целой страны наше руководство, по-видимому, боится даже намека на такую дискуссию. Здесь мы вынуждены коснуться позорных тенденций, которые проявились в последние годы.

Приведем лишь разрозненные примеры, без попыток создать целую картину. Вновь усилились цензурные рогаки, калечащие советскую художественную и политическую литературу. Десятки глубочайших и блестящих произведений не могут увидеть света, и в том числе лучшие произведения А. Солженицына, исполненные очень большой художественной и нравственной силы, содержащие глубокие художественно-философские обобщения. Разве все это не позор? Большое возмущение вызывает принятый Верховным Советом РСФСР Закон с дополнениями к Уголовному Кодексу, которые прямо противоречат провозглашенным нашей Конституцией гражданским свободам.

Осужденный прогрессивной общественностью у нас и за рубежом (от Луи Арагона до Г. Грина), компрометирующий коммунистическую систему процесс Даниэля и Синявского до сих пор не пересмотрен, сами они томятся в лагере строгого режима и подвергаются (особенно Даниэль) тяжелым издевательствам и испытаниям.

Разве не позор арест, 12-месячное заключение без суда и осуждение на 7—5 лет Гинзбурга, Галанскова и других за деятельность, реальное содержание которой была защита гражданских прав и персонально (отчасти в качестве примера) Даниэля и Синявского?

Автор этих строк 11 февраля 1967 г. обратился в ЦК КПСС с просьбой о прекращении дела Гинзбурга и Галанскова. Однако он не получил никакого ответа на свое обращение, никаких разъяснений по существу дела. Лишь много позднее ему стало известно, что была предпринята попытка (повидимому, по инициативе бывшего председателя КГБ Семичастного) оклеветать его и ряд других лиц при помощи инспирированных ложных показаний одного из обвиняемых по делу Гинзбурга - Галанскова (впоследствии показания именно этого обвиняемого — Добровольского — были использованы на процессе Гинзбурга - Галанскова для доказательства связи этих обвиняемых с зарубежной антисоветской организацией, что вызывает невольные сомнения).

Разве не позор осуждение (на 3 и 2 года строгого режима) Хаустова и Буковского за участие в митинге в защиту арестованных товарищей? Разве не позор преследование в лучшем стиле “охотников за ведьмами” десятков представителей советской интеллигенции, выступивших против судебных и психиатрических органов, попытка заставить честных людей подписать лживые, лицемерные “опровержения”, увольнения с работы с занесением в черные списки, лишение молодых писателей, редакторов и других интеллигентов всех средств к жизни?

Вот типичный пример этой “деятельности”.

Женщина — редактор литературы по кинематографии тов. Б. вызывается в райком. Первый вопрос: “Кто вам дал подписать письмо в защиту Гинзбурга?”. “Разрешите мне не отвечать на этот вопрос”. “Хорошо, выйдите, мы посоветуемся”.

Решение: исключить из партии, рекомендовать снять с работы с запрещением работать в области культуры.

Партия с такими методами убеждения и воспитания вряд ли может претендовать на роль духовного вождя человечества.

Разве не позор выступление на московской партконференции президента Академии Наук СССР, очевидно, слишком запуганного, либо слишком догматичного в своих взглядах?

Разве не позор очередной рецидив антисемитизма в кадровой политике (впрочем, в высшей бюрократической элите нашего государства дух мещанского антисемитизма никогда полностью не выветривался после 30-х годов).

Разве не позор продолжающиеся ограничения прав народа крым-

ских татар, потерявшего от сталинских репрессий около 46 % населения (в основном детей и стариков)?

Разве не величайший позор и опасность участившиеся попытки публичной, прямой или косвенной, реабилитации Сталина, его соратников и его политики, его лжесоциализма террористической бюрократии, “социализма” лицемерия и показного роста, в лучшем случае количественного и однобокого роста, с утерей многих качественных характеристик?

Хотя все эти позорные явления еще далеки от чудовищных масштабов преступлений сталинизма и скорее приближаются по масштабам к печально знаменитому маккартизму эпохи “холодной войны”, но советская и мировая общественность не может не быть крайне обеспокоена и возмущена, проявляет бдительность перед лицом даже незначительных проявлений возможности появления в нашей стране неосталинизма. Мы уверены также, что мировая коммунистическая общественность также отрицательно относится ко всем попыткам возрождения сталинизма в нашей стране. Ведь это было бы страшным ударом по притягательной силе коммунистических идей во всем мире.”

Примите великую благодарность за Ваше столь авторитетное свидетельство правды. Как трудно она выговаривается!... Чтобы не оказаться в плену полуправды, должно условиться о некоторой заведомой условности самого термина «сталинизм». С этой оговоркой я намерен писать дальше об **абсурдах**, к которым сегодня привел нас сталинизм.

Во-первых, страх. До сих пор мы заражены страхом. Не только люди моего поколения, но и молодые бледнеют, когда возникает только угроза только разговора с представителями известного ведомства. Уже в наши дни мне известны случаи сожжения ценных рукописей и даже фотографий в приступах страха. Недавно в Москве одна женщина получила нервный шок, когда во время чтения Ваших «Размышлений» раздался случайный стук в дверь... В оправдание нашей трусости должно заметить, что нередко люди испытывают страх не столько за себя, как за своих близких — страх от любви. «Нас вырастил Сталин» — так мы приучены. Человек, который был бесстрашен на войне, боится произнести откровенное суждение даже только в гостях, даже у себя дома... Сравните с этим душевное устройство современного англичанина. Подумайте о том, что нашей бледнеющей-то, молчаливой молодежи предстоит встретить уже назначенный срок наступления светлого царства, открытия идеального общества... Разве это не абсурд?

Из страха родится **притворство**. Имею в виду не только при-

творство перед другими, а более сложный психологический феномен: человек притворяется сам пред собою. Б. Пастернак обозначил это словами: «несвободный человек всегда идеализирует свою неволю»... В безотчетном стремлении сохранить уважение к себе человек притворяется пред собою в самой глубине искаленной души — охотно усваивает ложную историческую и текущую информацию, оправдывающую его покорность. Не было еще у нас такой государственной ошибки, которая не получила бы всенародного одобрения в качестве величайшей премудрости... И когда мне теперь говорят, что Сахаров «слишком наивен», или что русский народ «еще не созрел» для интеллектуальной свободы — я уверенно подозреваю, что это срабатывает все то же глубинное самопритворство, что это все та же басня про лисицу и виноград.

К тому, что Вы написали о **цензуре**, можно прибавить: в результате интеллектуальная жизнь общества находится в жестоком склерозе. Даже в Москве — только очень, очень маленькие кружки идейного обмена, не общающиеся между собою. Только через семь месяцев я раздобыл текст Ваших «Размышлений» — а совершенно подавляющее большинство москвичей о них и по-наслышке не знает... И какая **пустыня мысли** в официозной литературе! Возможно, Вы слышали московский анекдот о мамаше, которая переписывает на машинке «Войну и мир» — потому что ничего «из типографии» сын не читает. Увы, он прав в том отношении, что за исключением классики и узко-специальных изданий все, почти все, что печатается, в большей или меньшей степени обязательно проходит через какое-то самопритворство, а то и через прямую сделку с совестью. Даже верное изображение светлых сторон действительности редко удается, потому что тут неприметно действует принцип, о котором писал где-то Белинский: позорно хвалить то, что запрещено критиковать... И вот — сопоставление: за последние 50 лет царизма мы имеем литературу — великую русскую литературу мирового значения; а у нас?... Специалист мог бы сделать исследование о крупных писателях, которые после первого блистательного явления либо замолчали, либо стали халтурить, писать о грибах. Горький, Булгаков, Пастернак, Шолохов, Леонов, Олеша, Платонов, Федин, Твардовский... Можно было бы продолжить этот список погибших талантов. А сколько их погибает сегодня в зародыше, какие духовные силы пропадают у нас от невозможности самовыражения — в пьянстве, в мещанстве! Совершенно справедлива Ваша высокая

оценка творчества А. И. Солженицына. Будь у меня другие возможности, я почел бы своей **христианской** обязанностью распространять его рукописи. Но в его лице Россия имеет сочетание большого художника и необычайно сильного, воистину великого **человека**, который, да будет благословенно его имя, после фронта, тюрьмы, смертельной болезни оказался способным писать правду — писать «в стол», без критики и читателей, писать под постоянным страхом обыска и ареста... На его месте Лев Толстой не написал бы ни строчки. И он ведь — один, на сегодня мы не знаем ничьих других равноценных рукописей. Уж не говорит ли это об оскудении, травмированности русской души? Не хочу апеллировать к национальным чувствам, но право же, становится обидно за Россию. Вспоминаю по этому поводу перепугавшее меня приключение. Летом прошлого года в Московском метро на меня среди бела дня напали сотрудники службы госбезопасности, учинили незаконный обыск и отняли у меня произведения Бердяева, Солженицына, Григоренко. Я на них не обижаюсь, они выполняли приказ какого-то своего начальства. Но подумаешь — какой в этом страшный символический смысл. Неужели Россия так и останется без философии, без художества, без исторической правды? В России преследуется то, что составляет гордость России.

Не в силах полностью в нем разобраться, только упомяну о загадочном явлении — об **апатии молодежи**. И о **мещанстве**. Конечно, народ наш так натерпелся всякой нужды, и можно от всей души порадоваться улучшению его быта. Но печально наблюдать, как люди тотально погружаются в собственнический культ вещей. «Телик» (телевизор), мебель, одежда, холодильник, мотоциклет, — в этом вся жизнь. И мещанство духовное — удивительное убожество личной мысли. «При Сталине-то каждый год бывало снижение» (цен). «Все это евреи» (т. е. во всем виноваты). «А что-ж им — опять немца захотелось?» (о Чехословакии). «Какая свобода? Не надо нам никакой свободы»... Подобные изречения заставляют вспоминать Ваше выражение об «оглуплении в дурмане массовой культуры». А один из космонавтов объявил на весь мир, что не встретил в небесах **Бога**.

Этими краткими замечаниями я хотел дополнить Ваше свидетельство. Налицо — духовный **абсурд сталинизма**. Историческая трагедия нашего народа была в том, что чудовище-Сталин оказался во главе великой битвы с фашизмом; и в военной победе

он увидел окончательное оправдание своих методов — своей «технологии власти»... Сталин умер, но народу-то предстоит жить дальше; а жить так дальше нельзя.



Интеллектуальная свобода — проблема религиозная. Вы знаете, конечно, евангельский эпизод с динарием Кесаря. В римском произношении это звучало: динарий Цезаря. «Итак, отдавайте Цезарю то, что принадлежит Цезарю, а Богу — то, что принадлежит Богу».

Будем справедливы к Цезарю — государству. Государству принадлежит взимание налогов, охрана границ, охрана общественного порядка и нравственности, народное здравоохранение, образование, хозяйство... Руководство всем — право и почетная, священная обязанность государства. «Начальник не напрасно носит меч», — эти слова апостола Павла я вспоминаю всякий раз, когда с симпатией наблюдаю борьбу Милиции с хулиганской стихией. А от «детской комнаты» в Милиции я получил однажды истинно религиозное впечатление. Напротив, мне надолго запомнилась иностранная кинохроника, как на головокругительной высоте Эйфелевой башни несчастная женщина выполняет над городом акробатические трюки; с удовлетворением я оценил тогда: в нашем государстве этого бы не допустили. И бой быков, бешеные автогонки, проституция, порнографическая реклама, свободная торговля оружием, — никакие эти и им подобные «коммерческие» явления у нас невозможны, потому что наше государство в этом отношении лучше выполняет свои обязанности, чем, к стыду их, христианские государства на Западе. Не буду распространяться о других положительных сторонах нашей государственной системы.

Но вот, с другой стороны, мы слышим о судебных процессах против интеллектуальной свободы и о других подобных явлениях, которые Вы справедливо называете позором нашего государства. Здесь уместно процитировать Ваше определение интеллектуальной свободы. Это «свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков»... Оказывается, **НЕТ** — можно читать и писать только то, что нравится начальству; можно обсуждать что-нибудь только притворно — только повторяя заранее принятые суждения начальства; и так далее и тому подобное. Вот здесь государство покушается на достоинство

Божие. Скажу больше: **свобода человека не принадлежит даже Богу!** Свобода — абсолютное, Божественное право человека и священная обязанность человека. «Где Дух Господень — там **свобода**» (апостол Павел). «К **свободе** призваны вы, братья» (он же). В сравнении с этим — как низменны догмы сталинизма, который есть попросту обожествление начальства. И страшное унижение, уничтожение **человека**. «Все для человека» — **кроме свободы**, которая есть решающая ценность человеческого существования. В утрате интеллектуальной свободы Вы абсолютно верно видите «угрозу независимости и ценности человеческой личности, угрозу смыслу человеческой жизни»... Без свободы человек превратился бы во что-то **НИЖЕ ЧЕЛОВЕКА**.

Сегодня все мы, русские люди, вольно или невольно участвуем в грандиозном историческом эксперименте на тему: **ЧТО БУДЕТ С ВЕЛИКИМ НАРОДОМ, ЕСЛИ ЛИШИТЬ ЕГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СВОБОДЫ?** По здравой логике, один результат во всяком случае ясен: народ перестанет быть великим. Я говорю не о военном, а о духовном величии. Неужели в этом абсурдном, отрицательном опыте — судьба нашей Родины?.. Если не думать о чуде, которого мы недостойны, то можно реально надеяться только на то, что внутри руководства проявятся добрые и разумные силы, которые преодолеют догматическую заколдованность сталинизма и на ходу повернут эксперимент в другом, положительном направлении: **КАК СОВМЕСТИТЬ ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПОРЯДОК СОЦИАЛИЗМА С НЕПРЕМЕННОМ УСЛОВИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СВОБОДЫ**. О, как убедить, какие слова найти, чтобы те, от кого это зависит, поняли свою историческую ответственность!

«Кто едет — тому и править». Увы, советов даже и у Вас не спрашивают. Что же делать русской интеллигенции? Имею в виду тончайший слой подлинной интеллигентности — полной информированности и способности к независимой мысли. Самое большее, чем могла бы помочь руководству такая интеллигенция — это перестать притворяться, перестать быть, как выразился некто, полупродажными полуподонками. Возможно, я ошибаюсь, но, думается, наибольшая моральная ответственность лежит на интеллигенции моего поколения уцелевших. Нам уже скоро умирать и ответ держать; нам уже нечего терять — но вот, и у края могилы мы продолжаем притворяться... И еще обижаемся, что молодежь нас не уважает.

Вы пишете, что нужно всенародное расследование сталинских преступлений. Да — но и всенародное **ПОКАЯНИЕ**. Как же все это получилось, с чего началось? Все мы виноваты, все совершили грех против Духа Святого. Отвергли Христа, Принцип любви и свободы — и поклонились чудовищу! Все мы — почва, на которой взошли и крепко прижились злые цветы сталинизма... Может-быть, наступит день, когда мы отметим наше покаяние строительством храма в память Мучеников Двадцатого века.

Как христианин, я с особым волнением, с молитвою каждый день вспоминаю имена тех, кто **сегодня** страдает за правду. «Блаженны изгнанные за правду»... Люди разных религиозных убеждений, они на деле показали, что не хлебом единым жив человек; что Дух священной свободы действует в человечестве. Без всяких расчетов, без надежды на какой-либо исторический успех, некоторые даже и без христианского упования на жизнь будущего века — они добровольно пошли, казалось бы, на совершенно бесполезные страдания только во имя человеческого достоинства, исповедали верность Вечному Человеку... Это — безумие Креста. «Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся». Вот — торжество христианства. Торжество свободной личности, в которой «изобразился Христос», которая явила себя достойной права на Вечность.

*
**

Без интеллектуальной свободы нечего и думать о разрешении других проблем земного устройства человечества. Без свободы — как же обсуждать их? И без свободы нет личности; а человек прежде всего — личность, общество вторично. Смею сказать: просто **не научно** ожидать получения положительной суммы из отрицательных слагаемых — золотого общества из свинцовых лиц... Давно уже замечено отставание «морального прогресса» человечества от прогресса технического, но теперь этот разрыв угрожает нам и физической гибелью. Оказывается, мало того, что человек учен: он должен быть добр и свободен — иначе он не будет жить на земле.

Ваша притча о двух лыжниках великолепна; но мне представляется, что Вы неправильно оцениваете экономический результат соревнования двух систем как ничейный. Нет, сегодня надо откровенно признать факт экономически-качественного отставания социализма — я говорю о сегодняшней несовершенной, бюрократической форме социализма. Вы знаете, наверное, рази-

гельные цифры сельского хозяйства: в передовых странах Запада 7-10 % населения кормят остальных соотечественников и сверх того голодающих во всем мире; а у нас при наилучших природных условиях в сельском хозяйстве занята половина народа — и до сих пор мы не уверены в завтрашнем дне... По другим отраслям цифр я не знаю, но мы, можно сказать, каждый день лично встречаемся с фактами бесхозяйственности, немислимой в другой системе. И дело совсем не в наживе или в так называемой материальной заинтересованности, а в том, что в несовершенной, бюрократической форме социализма нарушен фундаментальнейший принцип хозяйственной жизни — момент творчества, свободной инициативы. Я совершенно убежден, что «частная практика» в педагогике, во врачебном искусстве, в торговле, в бытовом обслуживании принесла бы и в системе социализма великолепные результаты... Но это — не по моей специальности, касаюсь этой темы только мимоходом, хочу только установить факт непреложный: так как сегодняшний социализм экономически отстает — то тем более важна его, как Вы пишете, **«нравственная привлекательность»**. Но какая может быть нравственная привлекательность без интеллектуальной свободы? Нельзя говорить, нельзя слушать, нельзя писать, нельзя читать — боишься даже по улице пронести хорошую книжку... Это не социализм — это дискредитация социализма.

Я буду очень рад, если самому достойному из ученых, может быть, в чем-то пригодятся эти соображения самого недостойного из священников. В заключение позвольте заверить Вас в моей совершенной гражданской лояльности. Не лоялен тот, кто притворяется, обманывает свое правительство. Разумеется, Вы свободны распорядиться этим письмом по Вашему усмотрению. Об одном покорнейше прошу Вас и всех, кому случится читать это: позаботиться, чтобы копия не пошла за границу. Это — мое личное обещание, дело чести. Да «там» и так достаточно хорошо все понимают; но не им поправить наше горе, размыкать русскую печаль.

С величайшим уважением.

12 марта 1969 года.

К отклику на письмо Белинкова

Аркадий Викторович Белинков родился в Москве 29 сентября 1921 г. Учился на искусствоведческом факультете Московского университета и в Литературном институте им. Горького, который окончил в 1943 г. В январе 1944 г. Белинков был арестован органами Государственной Безопасности по обвинению в написании и распространении антисоветских произведений, связях с иностранцами (передача своих произведений одному французскому корреспонденту в Москве) и организации заговора с целью свержения режима. После 22-месячного следствия был приговорен к расстрелу, но приговор этот был заменен сначала политизолятором, а затем лагерем. В 1945 г. был отправлен в концлагерь. За три месяца до истечения срока был по доносу одного из заключенных снова отправлен в тюрьму за три книги, написанные в лагере, которые он пытался передать на волю. Приговорен к 25 годам лагеря особого назначения. Осенью 1956 г. освобожден, но без реабилитации.

По возвращении в Москву стал читать лекции в Литературном институте, но в 1958 г. был снова снят с работы, продолжая, однако, руководить работами аспирантов, в том числе из стран Восточной Европы (эти работы включали диссертации о творчестве М. Булгакова, Ю. Олеше, Ю. Тынянова, Андрея Платонова и др. советских писателей). В 1960 г. выпустил книгу «Юрий Тынянов», выдержавшую три издания. Об этой книге был ряд лестных отзывов, в том числе покойного К. И. Чуковского. Следующая книга, о Юрии Олеше, вышла в «самиздате» и получила широкое распространение. В 1966 г. публикация ее была объявлена издательством «Искусство», но потом отменена. Два отрывка главы из нее были напечатаны в начале 1968 г. в двух номерах журнала «Байкал» с вступительной статьей К. И. Чуковского. Эти журнальные публикации вызвали резкие критические статьи в «Литературной Газете». А. В. Белинков написал резкое письмо в Союз Советских Писателей и возвратил последнему свой членский билет. Примерно одновременно А. В. Белинков и его жена, Наталия Александровна, литературный критик и педагог, выехали в научную командировку за границу и стали невозвращенцами.

С июня 1968 г. Белинковы проживают в США, а с осени того же года оба стали преподавать русскую литературу в Изельском

университете в Нью-Хэвене. Весной 1969 г. А. В. кроме того вел семинар о Солженицыне в университете штата Индиана. Со времени его поселения в США им прочитано большое количество лекций о современной советской литературе в разных американских университетах. Его книги об Олеше и Тынянове приняты к изданию большим американским издательством и переводятся в настоящее время, а сам он работает над книгой о Солженицыне. Эти три книги должны составить своего рода «трилогию».

Г. П. Струве

ОТКЛИК НА ПИСЬМО А. БЕЛИНКОВА В СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Отвергая распространенное средне-либеральное мнение: «мы за советскую власть... минус совершенно ненужная и даже вредная опека над творческой интеллигенцией», Вы утверждаете, что «советская власть непоправима, неизлечима, она может быть только такой, какая она есть».

Большей частью (но не всегда!) из контекста Вашего письма ясно, что слова «советская власть» означают реально существующий порядок в СССР. Я утверждаю, что здесь имеется принципиально неверное словоупотребление, распространенное повсеместно и очень выгодное властям.

Первоначально возникшая концепция советской власти не несла в себе внутренней предрасположенности к фашистскому перерождению в большей степени, чем типичный буржуазный государственный механизм. Более того, соединение законодательных функций, а так же постоянная отчетность депутатов Советов перед избирателями (что предполагалось в теории) делало это перерождение еще менее вероятным.

Что касается лично моего прогноза относительно будущего советской власти, то я думаю, что если бы эта власть существовала на практике, то она была бы демократичной в большей или меньшей степени, исключительно в зависимости от общей культуры (политической, в частности) народа.

Но советская власть не существует. Да, ее нет. Советы не имеют никакой власти, ни законодательной ни исполнительной. Никакой. Властью обладает партия, точнее, ее

*) Рукопись неизвестного автора, полученная из России.

правляющая верхушка. И только она. И именно партийному руководству, узурпировавшему власть у Советов, очень удобно называть себя «советской властью», ставя знак равенства между теоретической моделью и реально существующим порядком. Должен заметить, что большая часть населения СССР, по крайней мере образованная его часть, понимает истинное положение вещей, не задумываясь, впрочем, над этим всерьез. Думаю, что и Вы отчетливо представляете себе это, и потому меня очень удивляет употребление Вами терминологии, выгодной ненавидимой Вами власти. Не говоря о том, что многое, сказанное в Вашем письме, было бы более точным и одновременно более понятным и приемлемым, если бы существующий в СССР правопорядок был назван своим настоящим именем — единопартийной властью.

Партийная бюрократия — этот «новый класс» (я сказал бы даже — каста или сословие, ввиду относительной его замкнутости и иерархичности) осуществляет свою власть, опираясь прежде всего на безраздельное экономическое господство над всеми производственными средствами страны. По существу, партийное руководство является единственным собственником всего.

Действительно, в какой стране нет никакого экономического механизма, никакой общественной организации, которая могла бы контролировать действия партийной верхушки, могла бы помешать ей распоряжаться всеми ресурсами страны, включая человеческую свободу и жизнь (этому примеры были и есть), как ей заблагорассудится.

Остальная часть населения, бесправная и неимущая, эксплуатируется особым, сугубо административным способом. (Стоит отметить, в этой связи, что в период расцвета сталинской диктатуры наше общество представляло собой любопытный образец «крупноблочного» рабовладельческо-феодального строя: иерархия партийных руководителей во главе со Сталиным-самодержцем — рабовладелец-крепостник, — остальное население — эки-рабы и «свободные» рабочие, колхозники и интеллигенция — крепостные. Это не пустое слово — крепостные, не аллегория и не гипербола. Это факт. Трудящиеся не имели права перехода с одного предприятия на другое без позволения администрации, за прогул или опоздание полагалось административное наказание, вплоть (и часто) до уголовной ответственности. Колхозники до сих пор находятся на положении полукрепостных).

И вот эту власть я считаю неисправимой, неизлечимой; с ней нужно бороться. Поэтому я отвергаю право — либераль-

ное мнение, распространенное и среди порядочных людей, что нужно вступать в партию, бороться за ее улучшение. Эта борьба совершенно бесплодна.

Однако использовать различные институты партийной власти (СП СССР и пр.) я считаю возможным и должным постольку, поскольку это позволяет легально и широко пропагандировать, хотя с большими трудностями и неявно, идеи, направленные против официальной идеологии. Поэтому заключительный призыв Вашего письма, продиктованный искренним, глубоким и благородным чувством, я считаю все же тактически ошибочным.

У меня есть еще несколько замечаний по поводу Вашего письма, менее принципиального характера. Приведу здесь только одно.

Вы пишете: «Не стыдите меня высшим образованием, квартирой и поликлиникой, августейше дарованных вашей властью». И далее: «Не попрекайте меня хлебом, который я ем и салом, которое я не люблю. Я отработал ваш хлеб, ваш кров 13-ю годами тюрем и лагерей...»

В контексте это звучит сильно — беспощадно и без тени рисовки. Но это не правильно: Вы говорите ВАШ (хлеб и т. д.), а он не ИХ, а НАШ. Это ОНИ едят НАШ хлеб, в каком бы виде и где бы мы его не производили — в лагерях или на «воле», умственным или физическим трудом. Так что, если человек получил высшее образование, пользуется поликлиникой и т. д. и не отработывал это годами лагерей — все равно, будь он рабочий или колхозник, учитель или врач, писатель, ученый или артист, он ничем не обязан властям. Пусть мне с фактами в руках докажут, что за мое высшее образование и за выданный зуб заплатил Брежнев или Подгорный или кто-нибудь еще из этой компании, и тогда я должен буду чувствовать себя обязанным перед властью. Но мы сами учили политэкономия, и знаем, что бывает личный фонд потребления и общественный и что в качестве зарплаты мы получаем лишь половину заработанного (или несколько меньше), остальное же составляет общественный фонд, который и идет на такие вещи как образование, здравоохранение и пр. Если к этому еще добавить, что ОНИ у НАС берут «взаймы» из общественного фонда на такие вещи, как победные фанфары и барабаны, (ракеты и бомбы я готов считать необходимыми, чтоб меня не съели империалисты), на покрытие дефицита партвзносов для поддержания хорошей формы наших обожаемых руководителей всех рангов (а их ужас как много), и многое другое, то ясно, что они у нас в неоплатном долгу,

даже если скинуть со счетов жизни и здоровье их жертв. Таким образом, Ваша 13-летняя расплата была расплатой просто ни за что. У Вас попросту отняли лучшие годы, силы и здоровье.

Н. АЛЕКСАНДРОВ

НАША КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ

1. В этот день, 12-Х-68 г., у газетных витрин не было видно людей с гневом указывающих на строки под крупным заголовком. Что же это за зловещие строки, которых никто не заметил?

Они из заявления ЦК КПСС по поводу кровавых расправ в Индонезии: «История человечества до сих пор не знала случая, чтобы в столь огромных масштабах происходило уничтожение людей в мирное время по идеологическим мотивам».

Вот как! Не знала!

А может старуха история — забыла? А может забыла не она, а забыли авторы заявления?

«Физическое истребление инакомыслящих», — говорится в заявлении ЦК. Да, (действительно) история не знала истребления инакомыслящих в таких масштабах, как... в Индонезии? — нет! — как в стране, где живут и правят авторы гневного заявления: «Мирный» 37-й год и многие другие «мирные» годы так называемого «культы личности», — нам известен теперь их много-миллионный кровавый итог, в десятки раз превосходящий нынешние расправы в Индонезии.

Но не только в этом наш позорный приоритет. Что инакомыслящие? Миллионы жертв не только не были инакомыслящими, но до последнего вздоха не могли понять, за что прогневался на них вождь. А действительно инакомыслящие? Ведь они были разными, эти инакомыслящие. Среди них были люди, равных которым уже не рождала земля наша в годы массового отупения. Они были прозорливы и многое (хотя не все) предвидели. Они предупреждали. Но их не хотели слушать. — СТАЛИНА мы вам не отдадим! — ревели ЕДИНОМЫСЛЯЩИЕ, которые затем тоже погибли и тоже в МИРНОЕ время.

Наша короткая память! Мы не пройдем мимо негодяя, который смел бы надругаться над могилами наших солдат. А разве подобная «забывчивость» автора «заявления» не оскорбительна для наших бесчисленных жертв «мирного» времени? Массовые

убийства людей, тем более за их взгляды и убеждения, вызывают понятное отвращение и гнев у всякого порядочного человека. Но стыдно, когда протест против расправ в Индонезии используется как прикрытие для произвола и расправ в нашей стране, как средство глушения нашей памяти.

2. Но ведь нельзя жить прошлым, может быть, забыть спокойнее. Забыть. Это так просто. Не было 35-го года.. Вернее, он был, но вспоминать о нем следует лишь в связи со строительством первой очереди лучшего в мире метро, а не в связи с истреблением ленинградских партийцев.

Не было и 37-го. То есть он был, но это был год беспосадочных перелетов в Америку, год выборов в Верховный Совет, а не был год, когда слова «враги народа» стали такими же будничными, как слова «потери в живой силе» — на войне.

Не было 37-го, 38-го, 39-го, 40-го, — когда тысячи голосов песней «если завтра война» заглушали ружейные залпы и предсмертные слова лучших командиров и комкоров.

Не было и послевоенных лет. Вернее, и они были, но опять же как годы сталинского плана преобразования природы, великих строек коммунизма, а не годы концлагерей для вернувшихся из плена защитников родины (и угодивших из немецкого ада в ад собственный). И много еще славных и жутких лет и было и не было.

Да, нас «вырастил СТАЛИН», мы помним слова нашего ныне бессловесного гимна. И мы, пожалуй, привыкли к этой сталинской, к этой дьявольской хронологии. Но можно ли со спокойной совестью следовать ей сегодня, когда рядом с нами живут и работают люди, отцы которых так и не успели рассказать им о революции, и те немногие из наших родных, знакомых или просто соотечественников, которым просто посчастливилось вернуться с «нашего того света?» Можно ли за утренним чаем послушно возмущаться расправами в Индонезии, так же послушно забывать о действительно **небывалых в истории** истреблениях наших неповинных людей в не такое уж давнее мирное время? Нет, «авторам заявления», как бы этого им ни хотелось, не заставить нас забыть это прошлое. Ради нас самих, ради наших детей, нашего будущего мы обязаны всегда помнить об этом.

3. Сейчас настали новые времена. Сейчас у нас не расстреливают инакомыслящих. Ну, два, ну, семь лет лагерей дадут тем, кто слишком громко протестует, а то и просто в ссылку отправят.

Людей, подписавших письма с протестами, не арестовывают. Просто иные из них теперь без работы и никуда не могут устроиться. А тех, кто со всем согласен, — и вовсе не трогают. Так зачем добиваться каких-то перемен? Хлеба — вдоволь, зрелищ — тоже.

Да, мы не очень разделяем газетные восторги и возмущения, но мы и не против. Главное — не думать. Не думать и не сопоставлять.

Вот Америка несколько лет ведет войну во Вьетнаме, теряя тысячи убитых. Когда несколько солдат дезертировали и при этом сделали заявление, разоблачающее грязную войну, солдат этих судили и на несколько месяцев посадили в тюрьму. Наши газеты возмущались расправой над этими мужественными людьми.

Но вот, Советский Союз ввел полмиллиона в братскую Чехословакию. Почему-то, для спасения чешского правительства от контрреволюции понадобилось захватить правительственные учреждения (и арестовать членов этого правительства), для помощи братской компартии — арестовывать членов ее ЦК. А когда 25 августа семь советских граждан (заметьте, не солдат, т. е. людей, не связанных военной дисциплиной) осмелились мирно выразить свой протест против оккупации Чехословакии, — советский суд приговорил их к нескольким годам лагерей и ссылки.

А «Московская правда», не упоминая о мотивах протеста, писала о демонстрантах так, словно их судили и отправили в лагерь за пьянство и нетоварищеское отношение к женщине. И подобные действия иные из нас готовы считать законными!

Мы одобряем книги зарубежных писателей, бичующих пороки их общества. Но ничуть не удивлены, когда на 5 и 7 лет за колючую проволоку прячут советских писателей, осмелившихся называть за границей (у нас и не пробуй) книги, напоминающие об ответственности каждого из нас за судьбы нашего общества, предостерегающие от повторения ошибок культа.

Нас не коробит, когда вслед за писателями в лагерь посылают молодых ребят, попробовавших вступить за них.

Да, лучше не задумываться. Стоит задуматься раз, как уже не остановиться. И невольно ловишь себя на том, что уже мыслить «инако».

Но люди начали задумываться. И таких людей неизбежно будет становиться все больше, потому что их не из-за границы забрасывают, а они рождаются в нашей стране. И «задумывающихся» будет все больше и больше, хотя бы наши руководители

ухлопали половину бюджета на глушение зарубежных радиостанций, доказав этим бесспорное преимущество социалистической идеологии перед буржуазной. И наши газеты многие **научились** читать.

Процесс этот не обратим. Впрочем...

4. Почему бы нашим властям полностью не развязать себе руки? Почему бы не принять закона о «высшей мере» или хотя бы к 15-20 годам заключения «за клевету»? (а ведь клеветой можно назвать все, что не подтверждает наша пресса).

А что тут невероятного? Разве из истории нашей страны, начиная со сталинских времен, известен хоть единственный случай, когда депутаты (хотя бы 2-3 из них) голосовали против предложенного проекта или хотя бы воздержались от голосования?

А ведь среди этих законов были такие, по которым судили за невыход и даже за опоздание на работу, за хищение голодающими священной и неприкосновенной социалистической собственности — килограмма картошки для своих голодающих детей. Был и закон, лишаящий ребенка права на отчество. А расплывчатые тексты «политических статей», по которым высшую меру можно было дать кому и за что угодно! Вот так никогда и ни в чем не отказывали нашим вождям НАШИ депутаты.

Когда-нибудь мы прочтем подлинное научное исследование о структуре нашего строя, о механизме власти и т. д... Но и сейчас ясно — наше руководство абсолютно бесконтрольно.

Но и сейчас стоит задуматься: откуда это небывалое единодушие? — и ответ лишь один: — из раболепия и страха.

Так может стоит принять закон насчет «высшей меры»? И все будет тихо. И тогда без помех со стороны «инакомыслящих» можно будет протестовать против расправ над инакомыслящими в других странах, утверждая, что история до сих пор не знала случая» и т. д.

Вот в чем опасность, которая кроется за «забывчивостью» авторов «заявления». Вот почему эта забывчивость не только оскорбление памяти наших неповинных жертв, но и реальная угроза будущему нашего народа.

Не только каждый депутат, но и любой гражданин нашей страны должен покончить с **равнодушием** и **бездушием**, которые маскируются словом «единодушно».

Всякий раз спрашивайте у совести: — А действительно ли я согласен?

ЧОРТ ДОГАДАЛ...

Солженицын. После его исключения из Союза Писателей, после его ответа, о ком же и писать, как не о нем? О нем и пишу, хотя всего лишь переписываю нечто написанное полгода назад по другому поводу. Поводов для такого рода писаний достаточно (сказать «слава Богу достаточно» было бы и грех, и глупость). Ему — и Союзу Писателей — статью эту посвящаю.

Прочел в еженедельнике Figaro Littéraire адресованное французскому министру юстиции письмо нашедшего убежище в Англии советского невозвращенца, писателя Анатолия Кузнецова. Точнее говоря не письмо, а объяснительную записку к письму, в котором он требует пересмотра выигранного им несколько лет назад во Франции (заочно выигранного) процесса. Если процесс выигран, на что ж ему пересмотр? Кузнецов заявляет, что решение французского суда было несправедливо. Прав был ответчик, а не истец, в пользу которого тяжба была решена. Но как же тогда случилось... Это он в своей записке и объясняет.

Не часто истцы выступают в защиту ответчиков. На первом месте недаром напечатал журнал этот текст. Вероятно и многие французы первым его прочли, не я один. Только читали они его все-таки не с тем же чувством. Сорок пять лет живу за границей, а все еще не разучился испытывать стыд за мое отечество. Смутно я помнил о процессе, читал «Бабий Яр» Кузнецова, читал сообщения английских газет о том, как он «остался» в Англии. Записку его я начал читать, как говорится в таких случаях, с интересом; читал с участием, сочувствием, со все усиливавшимся горестным волнением; а под конец фраза одна, приведенная в кавычках — о какая знакомая... переводчик обкарнал ее, не знал откуда она и что она для русского значит — навела на меня совсем уж безысходную, свинцовую грусть. Долго не мог я думать ни о чем другом. «Чорт догадал меня родиться в России с душой и с талантом». Как давно это сказано! Но повторяю эти слова за Кузнецова, за Солженицына, за многих других, за всех нас. Только о них идет речь. Нужно, однако, сперва пересказать рассказанное Кузнецовым. Буду краток. Его рассказ своим отнюдь не собираюсь заменять.

Десять лет назад редакторы «Юности» отказались печатать его первую повесть (о сибирских стройках) «Продолжение легенды»: жизнь молодежи в Сибири изображена была там, по их

мнению, недостаточно розово. Предложили подсластить, горечь изъять, тогда, мол, и напечатаем. Кузнецов был смущен, колебался, написал с трудом несколько вставок в требуемом духе, а затем обнаружил в «Юности» свою чужими руками полностью переделанную повесть. Она вскоре вышла отдельным изданием, имела успех, была переведена на много языков. Французский ее переводчик, аббат Шалей, насчет Сибири хорошо осведомленный (он был миссионером в Китае, а затем советским лагерным жильцом) отлично различил в книге (по словам ее автора) подлинное от вставного. Вставное выкинул, правду разгримировал, в результате чего перевод, озаглавленный «Звезда в тумане», был предъявлен Кузнецову в Москве вместе с обвинением в печатании за рубежом антисоветских сочинений. Его вызвали в иностранную комиссию при Союзе Писателей и заставили написать, сперва краткий протест, а потом более пространный, напечатанный под заглавием «Литературное воровство» в «Литературной газете» и во французском коммунистическом еженедельнике *Lettres françaises*. Несколько позже он по такому же требованию подписал бумаги нужные для вчинения иска; но в Париж на суд его не повезли. От его имени на суде выступала знаменитость, Морис Гарсон (замечу, что в старой России знамениты были не те адвокаты, которые брались за любые дела, обещавшие хороший гонорар). Издатель и переводчик были осуждены на уплату автору небольшой суммы денег и книга изъята из продажи. Ни денег этих, ни копии судебного решения Кузнецов так и не получил. В Париже, однако, вскоре после этого побывал: был включен в писательскую делегацию, отправленную сюда по случаю здешней советской выставки. Очутившись однажды на улице без спутников, он разыскал министерство юстиции, простоял несколько минут перед его фасадом. Войти? Сказать им правду? Но ведь в России у него осталась мать, остались жена и сын...

Этим он кончает свой рассказ; тут-то именно пушкинские слова и повторяет. Переводчик «чорта» выбросил, «душу» заменил «умом»: получилось: понял я тогда, что несчастье мое было родиться в России с умом и талантом». Кавычки переводчик сохранил. Нам их не нужно. Кто же из нас и без кавычек не узнал бы этих слов?

«Чорт догадал меня...» Не вижу, кто равный Пушкину — или неравный — в другой стране написал бы такие слова. А среди нас, неравных, кто же не вспоминал их за последние полвека? И среди тех, кто вспоминал, разве не было многих имевших на их произнесение права еще сильнее пушкинских? Рассказал же, на-

пример, Кузнецов о том, как он выдавливал из себя, одну за другой фразы — готовые, лживые фразы — своего ложного обвинения. «Не знаю — пишет он — случилось ли вам резать теленка. Вам жаль животное, но вы вызываете в себе чувство жестокой необходимости. Нож в горло вонзать только сначала страшно, потом судороги теленка и кровь пробуждают в вас убийцу и вы с яростью тычете в горло ножом, пока животное не умрет».

С похожим чувством, должно быть, но в положении еще более трагическом, Мандельштам, а потом и Ахматова выдавливали из себя, выцарапывали на бумаге свои стихи в честь Сталина. Главное тут не степень трагизма, не тяжесть угрозы, главное не в том, чья кровь и есть ли кровь на ноже, а в наличии, каждый раз издевательства над совестью и свободой человека. Были начатки такого издевательства при Николае I, испытал его Пушкин на себе, испытали и другие, одновременно с ним или после него, но никогда у нас в стране оно так пышно и ядовито не цвело, как по заветам «Ильича», при удушающей совести и как чумы боящейся свободы советской власти.

Одно уже вечное «держи и не пушай» чего стоит, как и совокупность того, чему символ, даже не всесоюзный, а общепартийный — берлинская стена. Не все в этом ново; и Пушкина за границу не выпускали; но всех полвека держать под замком, для этого понадобился Октябрь. А ежели выпускать, то пачками, с соответственным числом соглядатаев; да еще разрешение на выезд ставить в зависимость от благонадежности, измеряемой шпионством. Такой слежки за писателями, такого доносительства, поощряемого слежкой, не было и в Германии при Гитлере. Что же до цензуры, то была она у нас глупа — еще более глупа чем свирепа — и при Николае I, мучили ею и Пушкина, но не было ни в какие времена редакций и писательских организаций, которые бы сами этим угашением, мучительством этим, в сотрудничестве с полицией, занимались. Не было Союза Писателей, который предал бы анафеме Герцена, Чаадаева водворил бы (чего царь не сделал) в сумасшедший дом. А главное, если был запрет, если было много запретов, то не было пристегнутого к ним принуждения: не просто «молчи, печатать не станем», а — думай, пиши, говори то самое, чего ты не думаешь, чего говорить и писать не хочешь.

Как тут всякому не воскликнуть, не выкрикнуть: «Чорт догадал меня родиться в России!»

А ведь это страшные слова.

У Пушкина вырвались они за восемь месяцев до смерти в письме к жене из Москвы 18 мая 1836-го года. Он ими закончил письмо, еще прибавив после них: «Весело, нечего сказать». Незадолго до того было вскрыто другое его письмо к жене — или, по крайней мере, он заключил из разговоров, им услышанных, что оно было вскрыто. Он устал от передраг с цензурой, от раздражающей возни с изданием «Современника», от ощущения связанности во всех движениях, проистекавшей от его близости ко двору, избавиться от которой, по множеству причин, было ему так трудно. И все же эти слова — не последнее его слово, и не совсем всерьез он их сказал. Невеселье так и не рассеялось, гибель была близка. Но слова эти успел он, если не зачеркнуть, то выправить, а досаду уточнить в другом письме, — в том неотправленном французском письме Чаадаеву, где высказал он и вообще самые свои зрелые — предсмертные — мысли о русской истории и о России. Он писал ему, в лицейскую годовщину, 19-го октября, что несогласен с его общей исторической концепцией, с его презрением к русской истории: «Ни за что на свете не хотел бы я переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, той, какую дал нам Бог». А вместе с тем он и во многом соглашался с чаадаевской критикой, — не только по личным причинам, не только вследствие личного своего недовольства, своего раздражения, оскорблений им вынесенных, но и по причинам общим. Их он характеризует едва ли не самыми значительными словами этого столь значительного письма.

Об оскорблениях, о раздражении он не забыл упомянуть, тут же однако и подчеркнув, что не вызывают они в нем желания переменить отечество; далее он пишет: «Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь печальна, что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что зовется долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и к достоинству человека — поистине могут привести в отчаянье». Не нужно думать, что Пушкин одно лишь правительство в этом обвиняет, он обвиняет и общество, обвиняет и ту его часть, которая в будущем получит имя «интеллигенция». Как раз в этом он свою проницательность, свою прозорливость всего ярче и проявляет. Во второй половине века, особенно до убийства Александра II, правительство у нас гораздо меньше, чем при его отце было повинно в презрении к мысли и достоинству человека, зато наша интеллигенция и как раз «радикальная» или «революционная» ее часть явила такую нетерпимость, такую неразборчивость в средствах борьбы, такой вкус к

ство, из боязни революции не желавшее уступить место либералам, в частности «кадетам», ибо они передали бы рано или поздно власть крайним левым, в конце концов большевикам (что позже и случилось). И то же правительство, делавшее взрыв неизбежным, так как, ища по необходимости опоры у правых, оно восстанавливало против себя тем самым слишком многих. Можно ли, при таких обстоятельствах, кого-либо винить?.. Если правительство вынуждено было опираться на правых, то либералы как будто вынуждены были искать поддержки у левых. Выходит, что обе стороны виноваты и не виноваты! Рок, фатум, неизбежность, трагедия!...

Таких примеров в истории не мало. Но значит ли это, что все в истории фатально, механически чем-то обусловлено? Конечно, нет! Если бы русские консерваторы и либералы сумели перешагнуть в план духовных отношений, попытались бы найти не свою, а Высшую волю и взыскали бы соглашения не в порядке торговли, а в качестве соборного решения, то тогда они смогли бы, вероятно, прорвать заколдованный круг и не было бы тогда рока и неизбежности. Роковая причинность появляется лишь в том случае, если люди подчиняются не высшим запросам духа, а слепым инстинктам или своему «малому разуму». На это, вероятно, возразят — вы хотите чудес? Чудес, по крайней мере в истории, не бывает... Да, надо ответить, да, нужно взыскать именно чудес, т. к. в падшем мире духовность и есть чудо, которое все-таки бывает. Если же кто спросит — «да где же вы видите такие чудеса?» Ответ будет простой: первое основное чудо это Христос и Его Церковь.

Христос и Церковь победили языческий мир не насилием, не экономическим давлением, не агитацией, не рекламой. Победила стойкость человеческого духа, водимого и укрепленного (так верим мы, христиане) Божественною Благодатию.

Если позже язычество — мир отвоевали себе место в некоторой степени, даже в пределах самой Церкви, то Христовой победы, первых веков нашей эры, никто зачеркнуть не может, и она проявляется и в течение всей христианской истории человечества до наших дней.

Для того чтобы привести некоторые примеры, можно ограничиться пределами русской истории. Простое перечисление некоторых событий уже достаточно. Крещение Руси, Киево-Печерская Лавра, Борис и Глеб, Александр Невский, Сергей

Радонежский и его ученики, Куликова битва, Защита Троице-Сергиевской Лавры, Патр. Гермоген, Минин и Пожарский, прославление митроп. Филиппа... Все это до Петра I, а в эпоху Империи — Преп. Серафим, почти вся наша литература, Александр II, освобождение крестьян и другие его реформы, так же как и многие реформы Николая II.

Этот список может показаться банальным, и любой историк, даже и не позитивист, может отметить, притом справедливо, что в этих событиях, когда, пусть не надолго, восторжествовали правда и право, было не мало и других причин, как то: экономических, политических и т. п... Да, они были, и все же надо сознательно и до конца ослепить себя, чтобы не увидеть в этих событиях не только наличие, но и первенство духовного начала.

Там, где дух человеческий открывается высшей правде, в конце концов Богу, в истории начинает проявляться Промысл Божий в его **положительном виде** — и прекращается засилие рока или злой причинности. В Промысле Божиим в его положительном виде есть также своя закономерность, но чудесная. Она не насилует человеческую свободу и дает ей возможность осуществиться в любви, в соборном творчестве.

Но Промысл Божий остается и действует также и тогда, когда человек восстает против Божьего водительства, но в этом случае Божие Промышление проявляется как бы отрицательно в виде поущения злой причинности или рока. Отходя от Бога, человек теряет свободу, обезличивается и становится объектом воздействия различных слепых сил и, наконец, жертвой князя мира сего. Это ниспадение человека и вызывает то, что мы называем кризисом, а точнее говоря, судом.

Этот суд, или это Божие поущение, как бы оно ни казалось страшным, всегда есть милость Божия, в том смысле, что Бог дает возможность тем, кто этого захочет, увидеть свое заблуждение и найти правый путь. Это хорошо показано в книге Д. П. Кончаловского, который пишет, что современная историческая катастрофа должна возбуждать радость христиан потому, что «крах этот подтверждает присутствие в мире Промысла Божия и истинность христианства». Разумеется, указанная радость, по словам того же автора, ни в коем случае не должна походить на злорадство.

II

Из сказанного выше видно, что когда входит в силу роковая неизбежность, вызванная попранием всякой духовности, трудно бывает судить кто прав, кто виноват. Действительно, нравственный суд возможен только относительно свободных духовных действий. Нельзя осудить камень, который катится не туда, куда бы нам хотелось. Нельзя осудить вещь, а люди, лишенные духовности, потерявшие связь с источником свободы — с Богом, обезличиваются, становятся подобными вещам.

Но в нашем мире имеются люди, которые, если не всегда свободны, то особо призваны к свободе, к духовности, и притом такие, которым даны неисчерпаемые средства для осуществления этого их призвания. Эти люди это мы — православные христиане. Вот на них, на нас, и лежит главная ответственность за все происходящее в истории, и над нами именно совершается в первую очередь суд, — суд истории, а через него суд Божий. «Кому более дано, с того больше взыщется». Нам же, православным, дано все. Судит история, судит Бог, а наше дело не судить, а только понять суд Божий. Это возможно через личный опыт, через покаяние, через суд над нами самими. В этом только и заключается основная плодотворная реакция на всякое зло человеческой истории.

Какие же практические плоды может принести это покаяние? Прежде всего возрастающее сознание своей ответственности. Мы, христиане, никогда не должны говорить: «наша хата с краю — ничего не знаю». Церковь и мы в ней всегда должны тем или иным образом реагировать на зло, на всякую неправду.

К несчастью, не всегда так бывало.

Во время Иоанна Грозного только св. Филипп да некоторые Христа ради юродивые возглашали правду. Все же этого достаточно, чтобы не судить самое Церковь как таковую, т. к. ее правда и она были в этих немногих обличающих.

А раболепно молчавшие выпадали из Церкви, как выпадает из нее всякий согрешающий. Утрата сознания своей ответственности есть всегда сокрытие Богом данного таланта.

Другим плодом покаяния, так же как и сознания своей ответственности, должно быть усиление апостольско-миссионерского порыва. Русские миссионеры сделали очень много. Но достаточно ли православных христиан участвовало в этом деле? «Просветителей народа» в духе всякого нигилизма было сколько угодно,

а в христианском духе — несомненно мало. По мере роста грамотности, народ жаждал рассуждения — сознательного приятия веры и, не находя этой возможности у православных, уходил все в большем количестве в секты. Рост сектантства был не менее показателен, чем рост нигилизма. Кто виноват? Мы, мы православные, не сумевшие открыть доступ к нашей духовной сокровищнице.

III

Здесь естественно ждать возражения: — Почему вы все говорите МЫ? Разве МЫ, ныне живущие, ответственны за то, что происходило до нашего рождения? — Да мы ответственны в той мере, в какой мы не сознаем ответственности Церкви, в которой и прошлое и настоящее являются живым единством. Мы особенно ответственны, поскольку мы повторяем ошибки предков. Так, несмотря на то, что земная жизнь Спасителя протекала без малого 2 000 лет тому назад, мы и теперь можем оказаться в числе Его предателей и распинателей и теперь еще умывать руки, как Пилат. Но также можем и ныне апостольствовать и благовествовать вместе с Его апостолами. Евангельская История не отошла безвозвратно в прошлое, она неизбежно пребывает в мире и ею судится мир, а в нем прежде всех мы — православные. Пример ущербленного чувства ответственности в области миссионерства приведен здесь не даром.

Быть миссионером, глашатаем Христовой Истины — это почти единственная доступная нам эмигрантам священная задача. И страшно подумать, как мало мы делаем в этой области. Наши дети, наша молодежь все более отходят от Церкви, от Храма, и мы иногда будто уже не хотим передать им те духовные сокровища, что нам вручены свыше.

Западный мир все более и более разлагается на наших глазах, и мы, именно мы, так как нам дано все главное, могли бы показать нашим западным братьям верный путь... Но, не плетемся ли мы часто еще до сих пор за всем, что есть дурного на этом «Западе», как плелись многие наши предки еще на родине?

Над нашей страной, может быть над всей Европой нависает еще угроза со стороны Китая и других «цветных народов». Но существовала ли бы эта угроза, если бы Китай был православным? Если бы мы захотели, разве не смогли бы мы, в свое время, направить за китайскую стену целые полки миссионеров? Может

быть, мы и могли? Опять предчувствую уже выше отмеченное выражение... «Причем же тут мы? Ведь все это — прошлое». На это опять надо ответить, что ответственность за это, пожалуй, была бы с нас даже снята, если бы теперь мы возродили как внешнюю, так и внутреннюю миссию. Разве в настоящее время наша эмиграция не могла бы выделить из своей среды хотя бы нескольких миссионеров для Африки, в Уганду, где, по воле Божией, родилась Православная Церковь? А у нас за 50 лет был только один священник, пытавшийся миссионерствовать в Индии, иеромонах Андроник Елпидинский.

А много ли у нас священников? Теперь почти никто из наших молодых не хочет отдаться этому жертвенному и высшему служению... Так вот, мы снова готовы оставить ход истории в руках тех, кто подчиняет его дурной причинности, злему року.

IV

Здесь неизбежно встает вопрос о разных других образах борьбы со злом. Не мало среди нас тех, кто еще думает, что если бы в России вспыхнуло стихийное восстание, тогда вот и им нашлось бы настоящее дело. Здесь живы еще многие, кто пожертвовали своею молодостью и здоровьем и готовы были жертвовать своею жизнью ради родины в белых армиях. Пример этих героев убедителен даже и для некоторых молодых. Слава и честь этим героям. Хочется верить, что имена их будут живы в памяти русского народа. И все-таки ошибается тот, кто думает, что успешной или настоящей может быть только внешняя борьба со злом. Побеждает всегда и прежде всего дух и оружие духа — слово.

Это применимо и к силе злого духа и его служителей. Первым и главным оружием Ленина, как и Хитлера, было их злое и злобное духовное горение и слово их, напоенное этой злой отравой. Вокруг того и другого была сперва лишь кучка людей, а вскоре целые армии, вооруженные уже и другим образом.

Чтобы успешно отразить насилие людей отемненного духа, надо прежде всего духу темному противопоставить дух светлый и слову, исходящему из черной бездны, — слово, которое есть свет и жизнь. Так было это в начале христианской эры, так будет всегда, так будет это и во время последней битвы, когда «откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст

своих (II Фес. 2,8). Поэтому напрасно и грешно думать, что нам нечего противопоставить злу, царящему на родине нашей, и что мы безоружны и обречены на бездействие. Нам Промыслом Божиим дана свобода, и наше дело пользоваться ею для возгласения истины и обличения неправды.

Призвание Церкви в мире — это приводить людей к Богу, звать в свою ограду и объединять людей в истине и в любви. Этого достаточно. Если все силы Церкви и отдельных христиан были бы действительно направлены к этой цели, то и во внешнем мире происходили бы перемены к лучшему. Если главное дело христиан свидетельствовать об истине, конечно, очищая и просветляя себя самих, то формы этого свидетельства очень различны.

Еще надо помнить, что никто не может способствовать торжеству правды вне истинного единения со своими братьями т. е. вне Церкви. Дух истины дан и подается не обособленному человеку, а Церкви. Таким образом, это о Церкви должна быть наша первая забота. Это ее надо ограждать прежде всего от всякого на нее злого посягательства, в частности оберегать ее свободу и ее соборное устройство.

Но забота о Церкви не исключает вовсе участия в гражданской жизни. Чтобы быть здесь на высоте, особенно тому, на долю которого выпали задачи управления, нужно быть крепко укорененным в Христовой вере и в каждом данном случае, как и при всяких жизненных обстоятельствах, стараться творить не свою, а Божью волю.

Предрешать здесь что-либо заранее, это не в духе православной Церкви. Все же нужно определенно сказать, что Церковь не отрицает правовой жизни, которая объемлет различные организации, как-то: государство и многие другие. Не отрицает Церковь и возможности пресечения зла силой. Но в этой области христианская совесть должна быть особенно обострена.

Лично я полагаю, что смертная казнь оправдана быть не может; ею утверждается двойное преступление, убийство телесное и духовное, убийство приговоренного и души палача.

Участие в войне всегда рассматривалось в православном мире как согласие жертвовать своею жизнью, а убийство врага этим еще не предрешается, но и не исключается, как возможная горькая необходимость.

Православная Церковь никогда не предрешала, какую должна быть собственность: частной, общественной или государственной. Поэтому никто не имеет права произвольно считать христиан, принадлежащих к лагерю капиталистов или социалистов. Христианин может содействовать доброму строительству при любом социальном строе. Для нас, Православных, важно, чтобы те или иные формы хозяйственной и государственной жизни не подавляли личности человека, ее свободы, ее высшего призвания. Важно также, чтобы осуществление тех или иных общественных реформ не сопровождалось бы насилием, издевательством, обманом и кровавыми преступлениями.

К счастью, всякое зло, всякая неправда самое себя обличает в истории как невыносимое уродство и бессмыслица.

В этом суд истории и суд Божий. Торжество зла и некоторое частичное преуспевание, порожденное злом, бывает временным и никогда не может быть уничтожением самого блага, т. к. благо торжествует и при своем поражении и воскресает после смерти. Торжество правды и блага в земной истории человечества, так же как и торжество зла, бывает временным. Но в этих временных победах добра создается Царство вечное, Царство вечной правды. Оно наступит не здесь, на этой земле, но непременно наступит и воссияет на новой земле, под новым небом. Ручательством, что так будет, является победа самой Истины, самого Блага над смертью. Эта победа — это Воскресение Христово. И наше знамя — это знамя Господа, крестом победившего зло и смертью смерть поправшего. Это знамя есть навсегда знамя победителей!

Г. ФЕДОТОВ

НАРОД И ВЛАСТЬ*)

Я не я, и лошадь не моя.
(Русская поговорка)

Стремление русских людей оторвать свой народ от коммунистической власти, представляющей его в глазах мира, естественно. Приближается час расплаты, и горька будет чаша, которую придется пить России за преступления ее властителей. Столь же естественно и нежелание или неумение иностранцев отделить русский народ от коммунизма. Эта операция логического отделения народа от власти представляет на практике трудности почти непреодолимые. Иностранцам мешает незнание, своим — пристрастие. Невежество иностранцев по части России всегда было потрясающим; оно сравнимо только с русским невежеством в вопросах Азии или Африки. Но русское пристрастие иногда переходит все границы. Те же люди, которые вчера делали весь немецкий народ ответственным за Гитлера, ни за что не согласятся отвечать за Сталина, ни лично, ни коллективно. Признание такой ответственности или даже связи между русским народом и его тиранами среди нас очень непопулярно в эти дни. Лет 20 тому назад оно, напротив, имело большой успех в значительной части русской эмиграции. Но, ведь, историческая истина не меняется так легко в зависимости от политической обстановки. Сказать, что коммунизм не имеет ничего общего с русским народом, значит сказать благочестивую ложь, очень выигрышную для оратора на русском политическом митинге, но смехотворную для всякой иностранной аудитории. На лжи, как бы благочестива она ни была, нельзя построить серьезной политики. На наших глазах Черчилль и Рузвельт на лжи построили стратегию второй мировой войны, но накликали на мир призрак третьей. Между тем всякое рассуждение о «вредности» или опасности известных политических суждений о фактах является скрытым признанием предпочтительности лжи.

Чтобы взглянуть на нас самих, на современную Россию со всей возможной объективностью, поставим сначала общий вопрос об отношении народа и власти в истории всех цивилизаций. Мы

*) "Новый журнал" XI - 1949 г.

говорим привычно: древняя Греция, Англия, Россия в эпоху Империи, даже и не задумываясь о том, как малы были те человеческие группы, которые представляли эти государства или эти народы. Несколько тысяч афинских граждан, и еще меньше спартанцев, говорят за всю Грецию перед человечеством. Но их общественные или художественные идеалы разделялись ли миллионами метеков, рабов и варваров, которые жили на территориях эллинских республик? Сомнительно. Многим ли больше было число англичан, имевших политические права в эпоху создания и расцвета Британской Империи? До 19 века Британский парламент был органом олигархии. Но кто вспоминает об этом всем известном факте, когда говорит о преступлениях английского империализма? Пример России особенно поучителен и нам лучше известен. У нас десятки тысяч помещиков из десятков миллионов населения одни принимали участие в жизни государства, служили ему, хотя и не управляли им. Это было «русское общество» наших историков. Правящий круг составляли, может-быть, сотни семейств, для которых был открыт доступ к императорскому двору. Столь же ограничен был, хотя и не совпадавший с ним, круг носителей русской культуры. При Пушкине он почти исключительно совпал с дворянским. Но кому, кроме фанатика Писарева, придет в голову отрицать национальное достоинство Пушкина? Пушкин был национальным поэтом и тогда, когда его читали только тысячи. Эти тысячи одни представляли нацию в культурном смысле слова. В политике это кажется сложнее. Не подлежит, однако, сомнению, что миллионные массы России имели весьма смутное понятие о целях и смысле международной политики своей страны. Для армий 18 века, активно делавших эту политику своей кровью, типична солдатская песенка:

«Пишет, пишет король Прусский
«Государыне Французской
«Мекленбургское письмо».

Очень немногие, даже в дворянском обществе, были посвящены в политику графа Нессельроде или Горчакова, еще менее сочувствовали ей. Тем не менее это была политика России, а не только «Петербургского кабинета», как было принято выражаться на старинном дипломатическом языке. Договоры, подписанные канцлером, были обязательствами России, их нарушение было бы противно чести России, хотя при заключении их никто не спрашивал мнения России.

Но, может-быть, отсутствие протеста, пассивное принятие народом правительственной политики нужно считать ее признанием? На это нельзя ответить простым «да» или «нет». На примере России вскрывается вся сложность проблемы. Народ, несомненно, хранил верность царю, доходившую до религиозного обожания. Но так же несомненно, что он никогда не принимал законности крепостного рабства и всей новой, европейской культуры, на нем воздвигнутой. Пугачевщина свидетельствует о том, что народ думал о самом блестящем веке Русской Империи. Да и весь девятнадцатый век дрожал под непрерывными почти ударами крестьянских бунтов. На вопрос, отвечает ли русский народ за политику самодержавия, единственно правильный ответ таков: да, отвечает, ибо он отвечает за само самодержавие — отвечает и в добром и в худом, отвечает за угнетение Польши и за освобождение Болгарии.

Эта ответственность народа за власть кажется необоснованной, пока мы игнорируем третье понятие, перебрасывающее мост между ними: понятие государства. Никто не станет оспаривать, что государства представляются их правительствами, а не оппозицией, даже если за оппозицией стоит большинство страны. Государство даже в наши дни может обходиться без санкции народной воли. Опора государства на волю большинства принадлежит к самым новым явлениям политической жизни. Англия становится демократией на наших глазах — в 20-м веке. До Ллойд-Джорджа, кажется, имя демократа в Англии было пугалом. Что же, неужели лишь в 20-м веке английский народ стал ответствен за политику своих правительств? Народ отвечает за государство и косвенно за правительство, представляющее государство: отвечает или за то, что его одобряет, или за то, что его терпит.

В истории человечества демократии являлись редчайшим, хотя и драгоценнейшим исключением. Династии или олигархии правили народами и говорили их именем — до 19, а то и до 20-го века. И никто не оспаривал их права, хотя всем было ясно, что решения кабинетов или монархов не диктовались волей народа. Поддержка власти en bloc, как таковой, хотя бы пассивная, хотя бы только претерпевание ее, делала возможным говорить о солидарности власти, государства и народа.

Наши славянофилы, как известно, обосновывали этически свою апологию самодержавия тем, что оно берет на себя и снимает с народа ответственность и грех власти. Наивное утешение! Как будто можно заслониться чем-нибудь от нравственной ответствен-

ности. Древне-русские книжники, согласно с Библией, учили, что Бог наказывает народ за грехи царя, хотя они же запрещали ему восставать против царя. Противоречие? Может быть не столь вопиющее, если вспомнить, сколько есть форм противления злу, кроме прямого насилия: отказ от участия в нем, обличение тирана, вплоть до мученичества за правду. Писатели — современники Смутного Времени, в полном согласии с исторической истиной, сейчас забытой в России, объясняют его бедствия наказанием за опричину и тиранство Грозного. Грех народа один из них видит в «безумном молчании», т. е. в пассивной покорности преступной власти. Мученичество митрополита Филиппа, обличения двух юродивых явно недостаточны, чтобы уравновесить предательство епископов, осудивших Филиппа, низость десятков тысяч людей, служивших в опрочине и извлекавших из нее выгоду. Народ, как и боярство, был жертвой Грозного. Но, может быть, кое в чем он и сочувствовал ему по мотивам классовой злобы или национальной гордости. По крайней мере в массах своих он без ужаса и отвращения относится к Грозному царю.

Это моральное осуждение народа за грехи власти становится понятным, если вспомнить, сколько оттенков существует в сознательности нравственного акта и, следовательно, тяжести греха: есть грехи злой воли и грехи слабости, грехи вольные и невольные, грехи сознательные, полусознательные и, может быть, совсем бессознательные. Отрицать их, как это было в традиции старой русской адвокатуры, значит оскорблять свободу и достоинство человека.

Может быть, эта морализация претит кому-либо из читателей. Многие, не одни материалисты, протестуют против внесения морали в политику. Я глубоко несогласен с этим взглядом. На политическом имморализме может вырасти только тирания. Больше всякого другого строя демократия нуждается в «добродетели», как это было ясно для Монтескье. Но я готов условно сменить нравственный суд на политический, на суд истории. Тогда возмездие представляется просто причинно-следственной связью. Последствия худой политики власти падают на весь народ, если в ошибках превзойдена известная мера. Дурное правительство приводит к разорению и нищете; агрессия вовлекает народ в тяжкие войны, в конце которых ждет призрак поражения и даже национальная гибель. Война, как и чума, не знает правых и виновных, умерщвляет женщин и детей, губит целые города — в наше время, может быть, с более слепой жестокостью, чем в средние века.

В какой степени эта общая связанность народа с властью и ответственность народа за власть применима к России и большевизму?

Несомненно, мы имеем здесь дело с одним из предельных случаев — наибольшей разобщенности между народом и властью, при которой может существовать государство. Народ в огромном большинстве теперь ненавидит власть. По своим корням, своей идеологии она представляется антинациональной. Она преследует цели международной революции. Она держится в последнее время только террором и личной заинтересованностью правящего слоя. Может быть, действительно, русский народ тут не при чем?

Это большой и сложный вопрос, и ответ на него требует расчленения. Быть может, сейчас уже всякое сопротивление невозможно или требует героизма сверхчеловеческого. Но всегда ли это было так? Невменяемый в настоящем (алкоголик) ответствен за прошлое. Было время, когда он мог бороться с победившей его темной страстью, но поддался ей, хотя бы полусвободно. Корни русского рабства и безысходности заложены в самых истоках революции. 1917 год завязал петлю на шее народа, которая затягивается все туже год от года.

Стоит ли говорить о самой революции, которую готовили столетие, но которая разразилась тогда, когда почти никто не хотел ее, в момент страшной национальной опасности. Русская интеллигенция в массе своей воображала, что революция вообще — это счастливое событие, именины в жизни народов. Но историк знает, что революции это тяжкие болезни народов, за которые дорого платят и от которых не всегда выздоравливают. Социальная болезнь, переведенная на язык этики, есть грех. Все мы знаем эти грехи старой России, и те из нас, кто сознательно жил, или начал жить в эту эпоху, несут ответственность за них. Монархия, давно прекратившая свою просветительную миссию, завещанную Петром, и ставшая тормозом в движении великой страны. Бюрократия, сделавшая политику делом личной корысти. Высшие классы, державшие народ в такой эксплуатации и презрении, которым не было равных ни в одной европейской стране. Церковь, выбросившая социальную этику из своего обихода и умевшая только защищать власть и богатство. Интеллигенция, живущая в мире книг и утопий, потерявшая связь с народной жизнью, но все время подрубавшая ее религиозные и нравственные корни. А сам народ — «единый ли безгрешный?» Потерявши в школе и новой индустриальной среде и Бога, и царя, он вступил в полосу нигилизма,

которая называлась хулиганством в начале этого века и которая вылилась в поражение и пугачевщину на исходе тяжелой войны.

Если бы движущим мотивом революции 1917 года для народа была борьба за свободу и родину, как для интеллигенции, то было бы совершенно непонятно, как мог он так легко отдать родину немцам, свободу тиранам, да еще интернациональным беглецам, избравшим Россию ареной своей международной авантюры. Но если представить 1917 год, в целом, как восстание массы против войны, за мир во что бы то ни стало, т. е. за похабный мир, тогда все объясняется. В России была только одна партия, да и в этой партии едва ли не один вождь, настолько бессовестный, чтобы заключить этот похабный мир; она и должна была стать победителем. Революция делалась и завершилась дезертирами, которым было наплевать на Россию и свободу, но которые были не прочь пограбить, под лозунгом социализма.

Революция зачалась в душе народа в момент злобы и иступления и рождалась на свет, как пьяная оргия. Все остальное было попытками прикрыть приличием французских слов наготу этого ужасного зрелища и задержать на несколько месяцев оползень России.

Часто говорят, что злоба и солдатская оргия 1917 года только накипь, свойственная всем большим историческим событиям, что побеждают в истории только положительные силы, что и в большевистской победе участвовали идеалистические факторы, которые в свое время проглядела демократическая интеллигенция. Так думают сейчас не одни большевики, но, может быть, и большинство антисталинцев внутри России. Ленин и Октябрь все еще окружены известным ореолом.

Как очевидец и историк, я хотел бы сделать одно разграничение. Я признаю наличие рабоче-крестьянского идеализма в борьбе за Октябрь, но только эти идеалистические силы начали действовать после того, как Октябрь стал уже фактом. В 1917 году большевистские герои и мечтатели существовали лишь в небольших группах рабочих, преимущественно рабочей молодежи, которая слабо влияла на события. Но в борьбе против белого движения они своею кровью отстаивали Октябрь. Они стали стержнем Красной Армии и, вместе с крестьянской молодежью, пришедшей еще позднее, стали строить Новый Мир, или то, что тогда называлось пролетарской культурой. Но даже и в победе Красной Армии над Белой решающим был не героизм, а полусознательный

и почти циничский выбор крестьянства. И барин, и комиссар были ему ненавистны. Но поставленный в необходимость выбора, он предпочел комиссара. Зная все страшное будущее, которое его ожидало, он, может быть, не сделал бы этого выбора. Но выбор был непоправим. Когда народ пытался его поправить в Кронштадтском и Тамбовском восстаниях, было поздно. Он был уже скован по рукам и ногам.

В момент прихода к власти большевиков, за них была подана треть голосов на выборах в Учредительное Собрание. Меньшинство? Да, но такое же меньшинство было подано за Гитлера в последние свободные выборы в Германии. Эта треть была, если не лучшей, то, конечно, самой активной, воинствующей частью страны. Если бы две трети боролись так же энергично, как одна, никогда бы меньшинство не смогло победить. Ведь тогда в его руках не было всего страшного аппарата тоталитарного государства, который делает возможным и 10-ти процентам управлять всем народом. Террор-то был не только красный, но и белый. Если говорить о национальной ответственности, то две трети тоже несут ответственность за Россию. **Есть грехи бездействия, неделания; не помочь утопающему значит почти то же, что утопить его.**

Но было время, когда и большевистская треть стала расти и, вероятно, обратилась в большинство. Конечно, этого нельзя доказать никакой статистикой. Но тот, кто жил в России в годы Н э п - а, знает, как ослабела оппозиция коммунизму. Крестьянство, получившее землю и временно заслонившееся от власти, было положительно довольно. В течение немногих лет рабоче-крестьянская власть была действительно популярна. И вот тогда она могла позволить себе то, на что не решилась никогда ни одна революционная власть: произвести новую революцию — против крестьянства. Для этой цели она использовала антагонизм города и деревни. Недавно еще крестьяне посмеивались над голодающими дармоедами-рабочими, и эти дармоеды оружием добывали мужицкий хлеб. В 1929-30 годах масса рабочей молодежи была брошена в деревню, что бы угрозами, пытками, убийствами и разорением загнать крестьян в новое крепостное рабство колхозов. В самой деревне удалось натравить на трудовое крестьянство так называемую «бедноту», которая с жадностью «разделяла ризы» ссылаемых в Сибирь семейств. Та же социальная зависть и злоба, направлявшаяся недавно против помещиков и «буржуев», превратилась во взаимное поедание трудовых классов. Из чугуна этой злобы только и могла быть вылита страшная машина государственного террора,

а когда она была вылита, то не трудно было уже обратить в крепостное состояние и рабочих в ряде индустриальных пятилеток, истребить всю ленинскую партию и без огласки превратить старый революционный коммунизм в истинно-русский фашизм. Все это было сделано не по воле народа, но при его соучастии с использованием самых низких инстинктов его души. В этом и состоит злое отличие современных тираний от всех известных в истории. **Новые делают свое гнусное дело против народа, но через народ; они считают, что это дает им право называть себя демократиями.**

**
*

В оценке большевизма и критики его и апологеты часто впадают в одно из двух противоположных заблуждений: или он рассматривается ими, как наносное, чуждое России явление, как вампир, сосущий невинный народ, или как порождение народной стихии, цвет или плод всей тысячелетней истории России. Верно и то, и другое: интернациональный в своей первоначальной идее, большевизм обрусел в русской среде, став выражением страстей народа в годину его страшного падения. Но он никогда не мог обрусеть до конца, и вовсе не было написано в книге судеб, чтобы Россия должна была свалиться именно в эту яму.

Известно старое, немного схематичное, но все же не утратившее свою справедливость, противоположение: интернациональный коммунизм и русский большевизм. В двадцатых годах позвоительно было надеяться, что русский большевизм преодолеет и съест коммунизм. Тогда было возможно советскому поэту с полным сочувствием восклицать устами своего героя-атамана:

«Да здравствуют большевики,
«Долой, нехай, коммунистов!»

Эти надежды не оправдались. Победил коммунизм, приняв национальное обличье.

Ясно, что принадлежит к составу коммунизма: марксизм как основная идея (живая и сейчас, хотя и подвергшаяся ревизии); мировая революция (живее, чем когда-либо); «Интернационал» как русский гимн (отменен); техника и хозяйство (живут); борьба с национальной Русью (сменилась реставрацией Руси, но только черносотенной). Что в этом комплексе первоначального ленинизма

было воспринято народной душой? За что народ несет ответственность?

Марксизм есть создание гениального немецкого еврея и нашел себе почву только в Германии и странах немецкой культуры. Единственное исключение — Россия. В девяностых годах Россия дала такую блестящую плеяду экономистов и историков-марксистов, какой не имела ни одна страна. Ленин был одной из звезд второй величины в этой галактике. И Россия же сделала свою революцию под знаком Маркса. Это не могло быть случайностью. Можно указать несколько элементов в марксизме, которые делали его соблазнительным для русского человека:

1. Материализм, прорвавшийся так бурно еще в 60-х годах и опять-таки пожавший такие лавры только в России. В народной толще его питательной средой был религиозный материализм, выражавшийся в чувственном восприятии сверхчувственного мира. Русский человек, среди других народов, наделен поразительной силой чувственности, становящейся пророческой у русских гениев (Толстой, Достоевский, Розанов, о. Булгаков). И хотя этот сенсуализм органического, а не механического порядка, он может лечь в основу всякого материализма.

2. Рационализм, лишь на первый взгляд противоречащий сенсуализму. В истории народов, как и в развитии личности, рационализм соответствует отроческому пробуждению мысли. Она мечтает легко и без само-дисциплины все понять, все окинуть взглядом, не оставив ни одной неразрешенной загадки. Она не терпит никаких осложнений и не признает никаких границ познанию. У Маркса это не было наивной простотой, а вторичным опрощением, грехопадением философской (гегелианской) мысли, подобным возвращению Пикассо к искусству негров. В России, проспавшей интеллектуально целое тысячелетие, рационализм есть первый лепет мысли. Интеллигенция ринулась по этой дороге с 30-40 гг., народ с начала этого века. Чрезвычайно опрощенный марксизм Ленина с привеском примитивного дарвинизма оказался как раз по зубам рабоче-крестьянской молодежи, всколыхнутой революцией.

3. Оптимистический детерминизм исторической философии марксизма. В прямом или вульгарном его понимании (не будем спорить) он снимает с личности бремя ответственности и нравственного суда. Личность не смеет бороться ни против своей среды, хотя и может переменить ее, ни против истории (пример Бер-

дьева). Сливаясь с ее потоком, она чувствует себя необычайно сильной. Для нее нет никаких сомнений, что он вынесет ее, все человечество к утопии всеобщего счастья. Русским восприимчиком здесь было слабое развитие личного сознания и жажда уничтожения в коллективе: «Где народ, там и Бог». — «На миру и смерть красна».

4. С этим последним увлекающим моментом марксизма связан и пафос мировой революции. Библейское эсхатологическое сознание, напряженная жажда конца истории в атеистической цивилизации превращается в религиозный фетишизм революции — последней, всемирной. Это превращение, уже совершившееся в западном марксизме, который и вообще, по своей структуре, представляет обезбоженную иудео-христианскую апокалипсическую секту, идет навстречу эсхатологически-устремленной русской душе. Каяться ей придется не в эсхатологизме, без которого нет христианства, но в сектантском отрыве от реальности, в нетерпении и нетрезвости. Конечные идеалы приобрели у нас характер взрывчатых бомб.

Так и марксистский плен оказывается наполовину добровольным. Когда-то А. Блок со свойственным ему провидением обращался к Руси:

«Какому хочешь чародею
«Отдай разбойную красу.
«Пускай заманит и обманет...»

Ну вот, русская Людмила, отвергнув белого Руслана, отдалась Черномору, и седая борода Карла долго развевалась над взвихренной Россией.

От коммунизма переходим к большевизму.

1. Прежде всего 1917-18 г. был временем великого (в смысле грандиозности) народного бунта, одного из тех, которые отмечали с постоянным ритмом каждое столетие московско-петербургской неволи: Смутное Время, Разиновщина, Пугачевщина, Ленинщина. Всероссийский «чертогон», говоря по-лесковски, давал выход застоявшимся, скованным силам. Смотри снизу, глазами мятущихся масс, Октябрь не был отрицанием Февраля, а его продолжением. Ненависть к войне сочеталась с застарелой ненавистью к барству, питаемой пережитками крепостного права. Они пронизывали почти

всю русскую жизнь, особенно армию. Оказалось, что народ ничего не забыл и не простил. Его мечь была слепой и часто несправедливой. Интеллигент отвечал за барина, социалист за капиталиста. Коммунизму, который поджигал стихийный пожар, стоило не мало труда, чтобы потушить его и обуздать стихию. Зеленые атаманы долго сопротивлялись и белым, и красным генералам. Самое интересное то, что стихия революции нашла отзвук — и какой! — в русской поэзии. Революция не только дала двух больших поэтов, Маяковского и Есенина, но увлекла за собой многих символистов, которым она была, казалось, органически враждебна. Брюсов нашел в ней своего Дьявола, а Блок последнее выражение падшей женственности (Катя). Поэты откликнулись на зов дикой воли; и там, и здесь говорит славянский Дионис, плохо скованный и христианством и культурой (Аполлон). Эти поэты переживут века, и я боюсь, что по ним потомки будут судить о русской революции. **Не столько атаман Махно, сколько Блок и Есенин сделали Октябрьскую революцию национальной, т. е. грех ее всенародным.**

2. Между разгулом большевистской стихии и коммунистическим террором, ее обуздавшим, лежит полоса революционной культуры, которую можно условно назвать прослойкой идеализма. Годы и десятилетия молодые поколения рабочих и крестьян с жадностью бросались к «свету и знанию» и строили с величайшими жертвами новую жизнь, как им казалось, лучшую и справедливую. Ради этого идеала они обагрjali кровью свои руки, отождествляя его с восторжествовавшей тиранией. Самое содержание нового идеала — коммунизм — оказался связанным с очень глубокими основами народной этики. Не одна молодежь, но и вся масса, как и интеллигенция российская, были носителями этой этики. Русская этика эгалитарна, коллективистична и тоталитарна. Из всех форм справедливости равенство всего больше говорит русскому сознанию. «Мир», т. е. общество имеет все права над личностью. Идея-сила, пока она царит в типично-русском сознании, не терпит соперниц, но хочет неограниченной власти. Но сколько бы ни было правды в равенстве, красоты в личном самопожертвовании и даже в самодержавии идеи, весь этот комплекс в своей односторонности опасен и может принимать демонические формы. Такова была судьба общественного идеала в русской революции, повторившей во многом судьбу русской народнической интеллигенции. В России не раздался ни один голос в защиту частной собственности. Конфискация всей промышленности была воспри-

нята не одними большевиками, как акт почти нормальный, и во всяком случае справедливый. Социализм, который никак не укладывается в американскую голову, без труда был принят в России, а не только вколотен насильем. Русские беженцы говорят, что теперь в России социализм ненавистное слово. Вероятно это так и есть. Но, чтобы добиться такого результата, нужно было более 30 лет нечеловеческих мук. Только Сталину удалось внедрить в России психологические предпосылки буржуазного хозяйства.

3. Национальное чувство, подавленное в первые полтора десятилетия коммунизма, было реабилитировано в 30-х годах и сейчас сделалось одной из основ новой фашистской версии сталинизма. Оно доводится не то, что до абсурда, но просто до глупости. В жертву ему принесено уже не мало человеческих жизней за счет «космополитов» или «западников». Но, хотя за ним стоят палачи МВД, трудно сомневаться, что оно опирается на народное сочувствие. Первые, робкие всходы русского национализма после убийства Кирова, были оценены нами, думаю, справедливо, как уступки власти народу. Эта политика нашла через десять лет свою параллель в отношениях к Церкви — с той разницей, что, после уничтожения ленинской партии, национализм свил гнездо и в самом правящем классе. Слишком долго подавлялись всякие проявления здорового национального чувства, чтобы не вызвать реакцию. Читая нелепые проявления советского национализма, мы уже не знаем, что отнести на счет партийных директив, а что объясняется просто национальным психозом — такого же качества, как и другие его европейские разновидности. Удивительно ли, что советские историки с большой страстью, но без всяких доказательств, утверждают превосходство Киевской Руси перед Западом, если, случалось, и в эмиграции ученые проповедовали то же самое? Национальная мегаломания превращает в слепцов даже очень ученых людей. *Amor patriae tollit ingenium*. После целых поколений интеллигентской всечеловечности, Россия пошла, к несчастью, по немецкой дорожке. Об этом говорит и свободное русское слово, отражающее настроения как беглецов «оттуда», так и повальные увлечения старой эмиграции.

Особую форму, религиозную или псевдорелигиозную, русский национализм приобретает в христианском мессианизме. Это наследие старого славянофильства, за которое не большевики отвечают. Бердяеву нечему было учиться у Сталина. Этот тип национальной гордыни, паразитирующей на теле исторического христи-

анства, уводит нас в древнюю Москву. Как не поверить искренности московского патриарха, который стремится, пользуясь машиной советского террора, покорить себе под ножи весь православный мир? Блок и Бердяев оттенили другую черту русского мессианизма. Поэт назвал ее скифством, и все мы встречаемся с его проявлением в русском беженстве. Из унижения вырастают горделивые притязания. Это понятно, но не менее страшно. Таков был и роковой путь Германии...

4. Есть ли связь между тоталитарным государством Сталина и традициями русского самодержавия? Все иностранцы утверждают ее, большинство русских страстно отрицают. Конечно, мы знаем (чего не знают иностранцы), как сравнительно мягок был старый режим в его последние десятилетия. Но дело не в жестокости, которая свойственна революциям, а не *ancien régime*'ам. Дело в вековой покорности, почти безграничном терпении народа, имевшем свои глубокие исторические корни. Народ способен на бунт, но бесконечно труднее для него повседневная борьба за право и свободу. В условиях тоталитарной тирании борьба за право, в конце концов, вообще становится невозможной. Но ведь эта тоталитарность пришла не сразу. И вот вероятно, а исторически вполне естественно, что в создании этой небывалой тирании архитектором был не один террор, но участвовали и вошедшие в кровь и плоть навыки векового рабства. Вспоминал же Ленин, когда готовился к захвату власти, что Россией управляли когда-то 40 000 помещиков — приблизительная численность его партии.

Народ сопротивлялся коммунизму, особенно интеллигенция, но, очевидно, недостаточно. А было время, когда это сопротивление имело шансы на успех. Многие народы в Европе — немцы, чехи — приняли новую тиранию с еще большей легкостью. Все же остается фактом, что нигде в мире тирания не доходила до той тоталитарности, как в России. Остается фактом и другое, — что структура фашистского государства, как и методы террора, созданы Лениным и были просто пересажены на европейскую почву.

Нельзя закрывать глаз на основное социологическое различие между западным и русским фашизмом (коммунизмом). На Западе он родился из кризиса демократии; уже много раз в истории тирания возникала из разложения демократии: в Греции, в Риме, в Италии Ренессанса, в революционной Франции. В России основной причиной победы коммунизма было отсутствие демократии. Там

разочарование в ней, здесь ее девственное неведение. Наши судьбы не совпадают. **Россия является сейчас соблазнительницей Запада**, как раньше, в цветущий век демократии, Запад увлекал Россию. Большевистскую Россию можно было бы сравнить с Македонией или даже Персией в эпоху упадка греческой свободы. Греческие полисы сами тяготели к тирании на почве классовой войны. Но Македония и Персия давали готовые монархические формы для новой авторитарности. Эсхины и Ксенофонты играли роль современных попутчиков. Так выросла мировая держава Александра и Рима, существовавшая полторы тысячи лет. — **Судьба, которая готовится и ныне западному миру, если он не сумеет преодолеть и внешней опасности и своих внутренних ядов.**

**
*

Кое-какие соблазны коммунизма или фашизма еще сохраняют свою притягательную силу в России; национальная мегаломания, например. Но не ими держится власть. «Облетели цветы». Сталин, может быть, прав, веря только в две вещи: террор и деморализацию. Последнее и есть самое страшное. Мы только и слышим сейчас, что почти все население ненавидит советскую власть, но пытки МВД так страшны, и полицейская сеть так густа, что невозможны никакие проявления протеста. О, если бы было только это! Тираны прошлых веков довольствовались покорностью и молчанием. В эпоху революций молчание опасно — казнят и подозрительных. **Нужно славить власть даже тогда, когда ее ненавидишь. Но Сталин пошел дальше. Он изобрел систему, которой не знало человечество. Он поставил своей целью заставить каждого гражданина совершить какую нибудь подлость, чтобы раздавить его чувство достоинства, чтобы сделать его способным на все. Только эта цель объясняет многие фантастические явления русской жизни, которые без нее кажутся абсолютно непонятными. Полицейские и следователи всего мира, не исключая Гестапо, добиваются признаний в подлинных преступлениях или поступках. В СССР добиваются признаний заведомо лживых. Ради чего? Разве нельзя уничтожить человека и без всяких с его стороны признаний? Но палачи работают месяцами, чтобы добиться подписи под лживым и никому не нужным документом. Сломить раз навсегда волю человека, осквернить его совесть, сделать его предателем, клеветником — вот цель. Такой уж никогда не сможет смотреть людям в глаза. Он**

сделает все, что мы от него потребуем. Таков дьявольский расчет. Вероятно, он не всегда оправдывается.

Другое чудовищное явление — это поветрие покаяний. Когда сменяется генеральная (т.е. Сталинская) линия культурной политики, целые секторы научной и художественной работы подвергаются публичному и поименному сечению, и позже от оклеветанных и смертельно замученных людей требуется акт самобичевания и отречения от своих идей. И здесь та же цель: раздавить морально писателя или ученого. Он слишком гордо носит голову; таково уж свойство его профессии. Он воображает, что служит науке или искусству. Он служит нам; он оплачиваемая государством проститутка, и пусть не забывает этого.

Есть люди, которые и здесь отказываются участвовать в общей подлости. Они выбирают молчание, нужду, ссылку, гибель близких. Имена немногих из них доходят до нас. Мы преклоняемся перед их страданиями; они дают нам силу жить. Но все тот же роковой вопрос: сколько праведников спасают Содом?

О, если бы четкая линия между палачами и мучениками могла быть проведена в России! Где кончается эта ненавистная власть и где начинается ее ненавидящий народ? Может быть, власть — это партия? Но партия, давно уже потерявшая свой идеологический костяк, почти растворилась в массе. Родственные, бытовые отношения связывают ее с беспартийными. У коммуниста можно порой сыскать даже защиту в случае политических неприятностей. Но, с другой стороны, партия облеплена густым слоем кандидатов, карьеристов, готовых на все, чтобы пролезть в ряды знати. Или власть — это МВД? Но как мало число действительных палачей сравнительно с массой вольных и невольных доносчиков. Кто охраняет заключенных в бесчисленных каторжных лагерях? По большей части, те же осужденные. Кто помогает чекистам и их собакам ловить беглецов? Окрестные крестьяне. Поистине трудно — возможно ли? — остаться непричастным злодеяниям власти, которая ставит своей целью сделать своим соучастником весь народ. Легче всего совесть у тех, кто находится на самом дне: у станков и за плугом, без мечты о выдвиженчестве. Им разрешено молчание. **Есть даже углы в России, где допускается и свобода слова: в лагерях смерти для тех, кто не помышляет о возвращении в мир. Но велика ответственность тех, кто по самому призванию своему поставлены на страже истины и свободы, но вынуждены отравлять и развращать сознание народа. Велика ответственность русского писателя, ученого, епископа. Самый тяжкий грех — грех патриарха.**

Общая вина, общий грех. Без признания их нет духовного возрождения России. Без покаяния нет очищения. Конечно, возрождение государства мыслимо и на других путях, известных нам по новейшей истории Германии. Но какая от того радость? Германия не исцелилась от ядов фашизма после гибели фюрера. Ущемленное национальное самолюбие, вырастающее в гордыню, мстительность; безмерные притязания, разрыв с человечеством. Все эти опасности ожидают Россию, если она отвергнет сознание своей вины и будет искать виновных вокруг себя.

Но горе чужой стране, которая взяла бы на себя дело возмездия. Если можно карать отдельных преступников, — а кто, как не Сталин имеет право на первую виселицу? — то никто не смеет взять на себя наказание целого народа. У каждого народа достаточно своих собственных грехов, демократии тоже стоят перед судом. Самозванные же судьи сами становятся преступниками.

Если в политике есть место нравственным идеям, то во всяком случае не идее возмездия. Политическая мысль смотрит вперед, а не назад. По отношению к народам, развращенным тоталитарной тиранией, единственно возможная интервенция — та, которая ставит своей целью помочь их возрождению, а не карать их грехи. В начале последней войны это сознание жило у союзников. Они заявляли, что ведут войну с Гитлером, а не с немецким народом. Но потом чувство мести за разрушаемую Англию взяло верх, и немецкому народу уже не приходилось ждать пощады. Без всякой военной необходимости уничтожены прекрасные древние города, принадлежащие всему человечеству. Немцев загнали в подземелья, где они живут как троглодиты, помышляя снова о мести. В политическом отношении к Германии все время боролись две идеи, разрушавшие одна другую: идея «перевоспитания к демократии» нейтрализовалась мыслью о возмездии, — все еще вешают военных преступников на пятый год мира. В результате, настоящее Германии мрачно, будущее смутно.

Вспоминается другая победа коалиции европейских народов над народом и тираном, который был ненавидим в свое время не меньше Гитлера. Франция, конечно, была ответственна и за революцию, и за Наполеона. Но союзники забыли прошлое и дали ей хартию свободы, не слишком роскошную, но с которой она могла начать новую жизнь. Франция не помышляла о реванше, тень Наполеона преследовала только лирических поэтов, и Европа могла наслаждаться длительным миром.

Великодушные победителя дело не только его сердца, но и мудрости. Вот почему отделение народа от его преступной власти — невозможное исторически и этически — является политической необходимостью: не в порядке сущего, а должного, особенно для сторонних или даже враждебных наций.

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОСТИ В СССР

До сих пор совсем не изучена духовная жизнь тех подсоветских людей, которые пришли к сознательной вере в Бога через внутренние индивидуальные кризисы и стали жить в свете приобретенных ими новых, религиозных идеалов. Эту сторону духовной жизни особенно трудно изучать не только потому, что она отделена от свободных исследователей «железным занавесом», но и потому, что эта их новая жизнь предельно затаена, скрыта, нередко даже от членов собственной семьи.

Некоторые недавние эмигранты из СССР отрицают наличие и значение фактора религии в советской действительности. Бывший советский журналист Л. Владимиров в своей книге «Россия без прикрас и умолчаний», давшей блестящий анализ целого ряда явлений в СССР, утверждает, что ставший проявляться в СССР повышенный интерес советской интеллигенции к собиранию и реставрации древних икон, посещению памятников религиозной старины и, очевидно, даже изучение этой старины, ее стилей, ее тематики (см. рассказ В. Солоухина «Урок телепатии» в сборнике «Зимний день», Москва, 1969 г.) — не что иное, как модное и в общем беспредметное «хобби», каким является у многих, например, коллекционирование почтовых марок. Недавний эмигрант, советский писатель А. Кузнецов вообще отрицает какую бы то ни было духовную активность современных подсоветских людей.

Советская литература — и официальная, и «самиздат» — дают, однако, богатейший материал для изучения именно этой, скрытой, не показной, гораздо более значительной формы религиозности, которая вынашивается в индивидуальном порядке и становится либо постоянно беспокоящим человека вопросом, либо созревает и раскрывается живым созерцанием и ощущением Бога.

В новейшей советской литературе все чаще звучат темы религии, Бога, молитвы, физической смерти, ответственности человека за свою жизнь,

бессмертия. Проза и стихи на эти темы находятся почти в каждом новом сборнике (см. главу "Церковь Никиты Мученика" в романе А. Солженицына "В круге первом"; заново переработанное стихотворение Риммы Козаковой в сборнике ее стихов "Елки зеленые"; стихотворения А. Яшина "Отходная", "Молитва матери" в сборнике "День творения"; рассказ В. Солоухина "Ледяные вершины человечества" в упомянутом сборнике "Зимний день"; начатая печататься в журнале "Наука и религия" повесть А. Тендрякова "Апостольская командировка")... Какую бы атеистическую концовку ни придумали к ней автор или редактор специального журнала, она покажется надуманной. Слишком острые и грандиозные вопросы поставлены перед человеческим сознанием в ее первой части (см. названный журнал № 8).

Чем-то вызвано же появление этой литературы. Очевидно, "спрос вызывает предложение". Если бы не так, советские редакторы не помещали бы литературы такого содержания в свои сборники. Напрашивается параллель: если бы не было в СССР спроса на крестики, образки, ладанки, четки, зачем бы рисковали контрабандистки переносить через границу эти предметы религиозного почитания (см. статью "Двойное дно" в газете "Советская Литва", 29.5.1969).

Изучению вопроса прихода советского человека к религии и того, как советский человек, прошедший через тщательную обработку его специальным коммунистическим воспитанием, переосмысливает под углом зрения религиозных убеждений свою жизнь и отношения к миру и окружающим, может значительно помочь новая книга Светланы Аллилуевой "Только один год" (изд. 1969 г.). Ее личный опыт в этом отношении и показателен и многообещающ, ибо людей, подобных в некоторой степени ей, в СССР сегодня миллионы.

Н. А. Теодорович.

Инстит. по изуч. СССР.

ЛИТЕРАТУРА и ЖИЗНЬ

Б. К. ЗАЙЦЕВ

Письмо Солженицыну

Александр Исаевич, чрез тысячи верст, нас разделяющие, и чрез жизнь, не позволяющую встретиться, направляю Вам благожелания и сердечное сочувствие. Я не так давно Вас знаю, да не так давно и вышли Вы в литературу. Первое знакомство — Иван Денисович. В нем всего Вас я еще не ощутил. Но, конечно, это Вы. Только лишь приоткрытый. «Матренин двор» — дверь отворяется уже шире. «В этом авторе что-то особенное». Не просто советская жизнь в вольном освещении. Пусть первую половину хорошо бы пожать, но писание это органическое, авторская душа дает себя чувствовать произвольно, какая она есть, как создана Господом Богом.

Для меня с этой Матрены и начинается полный Солженицын. Не знаю хронологию Ваших писаний, для меня Ваш расцвет — «Раковый Корпус» и «В круге первом». Опять оговариваюсь: оба для меня не совсем совершенство. Подчистить, подтянуть ремни, сократить (особенно «Круг») не плохо было бы. Сталин мне не нужен, это я все знаю и это журнализм. И вот: с одной стороны менее удавшееся, с другой — прощание с невестой или очаровательная докторша из «Ракового Корпуса» и нежность неудавшейся любви. Прелестно!

Что же, во всех, даже великих произведениях («Война и мир»), не все на равном уровне. Есть горы, есть и долины — это почти неизбежно. Но Толстой писал с отдаления, более олимпийски. Вы в злободневности, пестроте, в боли вчерашней. Вам труднее. Кроме пафоса обличительного, чаще всего уводящего от высокого художества, Вас могут упрекнуть и в другом: вообще в перевесе документального, choses vues, над вымыслом творческим.

Но, слава Богу, есть и иное, Ваше, органическое — в этом Вы в линии великой русской литературы XIX века, не подража-

тельно, а врожденно. Есть глубокое дыхание любви и сострадание. Оно подземно у Вас, но подлинно. Вы его не «возглашаете», оно само говорит, даже Вас не спрашиваясь, голосом тихим и непрерывным.

«Придите ко Мнѣ вси труждающіеся и обремененніи...». Имени Христова Вы как будто и не упоминаете, но Оно стоит за всеми



Фот. М. Бродского.

Б. К. Зайцев

Ваши строками тайно, прикровенно. Этого не скроешь. Это у Вас не «литературное», а выстраданное. Оно и придает силу писанию Вашему. Некий ток высокого напряжения идет от него и покоряет — не только русских, но и чужеземцев.

Некогда гимназист Мережковский пошел к Достоевскому за научением — жаждущий к зрелому (знакомая картина!).

Достоевский ему сказал:

«— Чтобы писать, пострадать надо, молодой человек!».

Людям нашей эпохи, «страшных лет России», говорит это уже не Достоевский, а сама жизнь — одному больше, другому меньше. Вам, Александр Исаевич, сказала достаточно. И голос Ваш доходит до всех, у кого живо сердце.

Письмо это совпадает с Рождественскою и Новогодней волною. Пусть так. Новый ли год или старый, великий ли Праздник Рождения или дни обычные, во всякое время я, старший собрат Ваш по литературе, посылаю Вам лучшие чувства и самые искренние пожелания добра.

Писания, писания! жду, чаю замечательного писания.

ПЬЕР ЭММАНУЭЛЬ

РЕАКЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ В СВОБОДНЫХ СТРАНАХ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА ИЗ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ *)

В письме в редакцию газеты «Таймс», опубликованном несколько дней тому назад, 31 писатель угрожали «культурным бойкотом» Советскому Союзу, если эта страна будет продолжать преследовать своих писателей и, в частности, Солженицына.

«Если этот призыв не будет услышан, — говорится в этом письме, — мы не видим другого средства, как просить всех писателей и художников всего мира объявить международный культурный бойкот стране, самой исключившей себя из цивилизованного общества, до тех пор, пока она не перестанет варварски обращаться со своими писателями и художниками».

*) «Figaro Littéraire», № 1232, 29-12-1969—4-1-1970.

К этому письму независимых писателей следует прибавить и энергичный протест левых французских писателей во главе с Ж.-П. Сартром, а так же протест английского философа Бертранда Расселя.

Среди подписавших этот призыв мы находим имена Пьера Эммануеля, автора предлагаемой статьи, Гюнтера Грасса, Грехам Грина, Вольфа Хохгута, Артура Миллера, Мэри Маккарти, Уильяма Стирона, Филиппа Тойнби. В своей статье П. Эммануэль уточняет значение этого протеста.

Настоящий протест имел больше откликов, чем многие другие, благодаря содержащейся в нем угрозе бойкота. Он послужил предлогом для передовой статьи газеты «Ле Монд» на тему «Писатель и власть», в которой положение в СССР описывается параллельно с положением в других странах, однако, Советский Союз является типичным образцом системы насилия над духом. Всех справедливо возмущает то, что происходит в Греции, но по сравнению с судьбой интеллигенции в СССР, греческие меры воздействия почти всегда более умерены. Обычно поддаются иллюзии, что советский тоталитаризм есть лишь временное явление, в то время как в других странах это входит в систему.

Этой иллюзии, даже сейчас, поддаются еще многие левые интеллигенты и этим они лишь укрепляют тиранический аппарат на Востоке. В представлении прогрессистов эта иллюзия исходит из ошибочной идеи, что при переходе к социализму можно на неограниченный срок оправдывать запрещение свободы мысли. В СССР запрещена свобода мысли именно во имя социализма, о котором никто больше там не думает, так как запрещено вообще думать. Иначе нельзя было бы заменить социализм произволом неограниченной власти.

Вот уже в течение 50 лет цензура и полиция в СССР запрещают верующим молиться, философам — думать, писателям — творить. Удивительное творчество XIX века изуродовано, подчищено или попросту уничтожено. Непогрешимый марксизм-ленинизм является лишь примитивным и диким прагматизмом, которым оправдываются все превышения власти. Когда будет составлен мартиролог всех писателей и художников, уничтоженных или приведенных к молчанию террором, вызываемым у кремлевских владык при любой свободной мысли, тогда мир будет потрясен огромностью этой потери. Перед систематическим превращением поколений творцов в рабов и лжецов, приходится назвать это медленным массовым убийством души. К концу этого века, если этот режим еще сохранится, вся Восточная Европа грозит превратиться в духовную пустыню.

Скажут: «Солженицына исключили из Союза Писателей? Великое дело! Синявский и Даниель оба медленно умирают в Сибири». Да, но в СССР профессия писателя строго регламентирована: быть исключенным из Союза Писателей значит сделаться человеком без определенной профессии, т. е. паразитом. Само существование автора «В круге первом» в настоящий момент является правонарушением: ему грозит многое — даже заключение в дом для умалишенных. Можно предполагать, что он сделался жертвой политических интриг. То, что его произведения, даже и без его согласия, изданы за границей раньше чем в СССР, является уже изменой с точки зрения режима, старающегося обесчестить великого писателя, провоцируя его уехать в изгнание. Но смысл жизни Солженицына в том, чтобы остаться на родине во что бы то ни стало, он даже заявил о своей готовности умереть за правду.

Будучи исключенным из общества, что с ним будет? Есть полное основание предполагать, что над ним и его последователями висят новые угрозы. Мало их принудить к молчанию: надо их исказить, извратить. Для власти, их удушающей, даже их молчание подозрительно и делается невыносимым. Именно в этой адской логике кроется все варварство самой системы. Целью нашего протеста является привлечь еще раз внимание общественного мнения Запада к уродливости беспощадной полицейской системы, к самоуправству власти, являющейся социалистической лишь по имени.

Если наша угроза бойкота вызовет, может быть, улыбку, она по крайней мере указывает на несоразмерность оружия в распоряжении писателя и власти, напуганной свободолобием. Мы таким путем заявляем, что нас не обманывают официальные делегации писателей или артистов, прогуливающих на Западе в полу-свободе. Эпоха Брежнева больше не похожа на хрущевскую и это отражается на качестве культурных эмиссаров. Поэтому не следует притворяться, что имеешь дело с подлинными интеллигентами, когда это аппаратчики. Ни престиж Большого Театра, ни замечательный фильм о Рублеве (показываемый у нас, но не в СССР), не могут ввести нас в заблуждение относительно организованного удушения духа, который может сейчас проявляться лишь подпольно.

Пьер Эммануэль

Член Французской Академии

А. СОЛЖЕНИЦЫН — ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ ЗЕМЛИ СССР *)

«...Туманные проходят годы,
И попережку дышим мы
То затхлым воздухом свободы,
То вольным холодом тюрьмы.
И принимаем попережку,
С надменностью встречая их, —
То восхищенье, то насмешку
От современников своих».

Георгий Иванов.

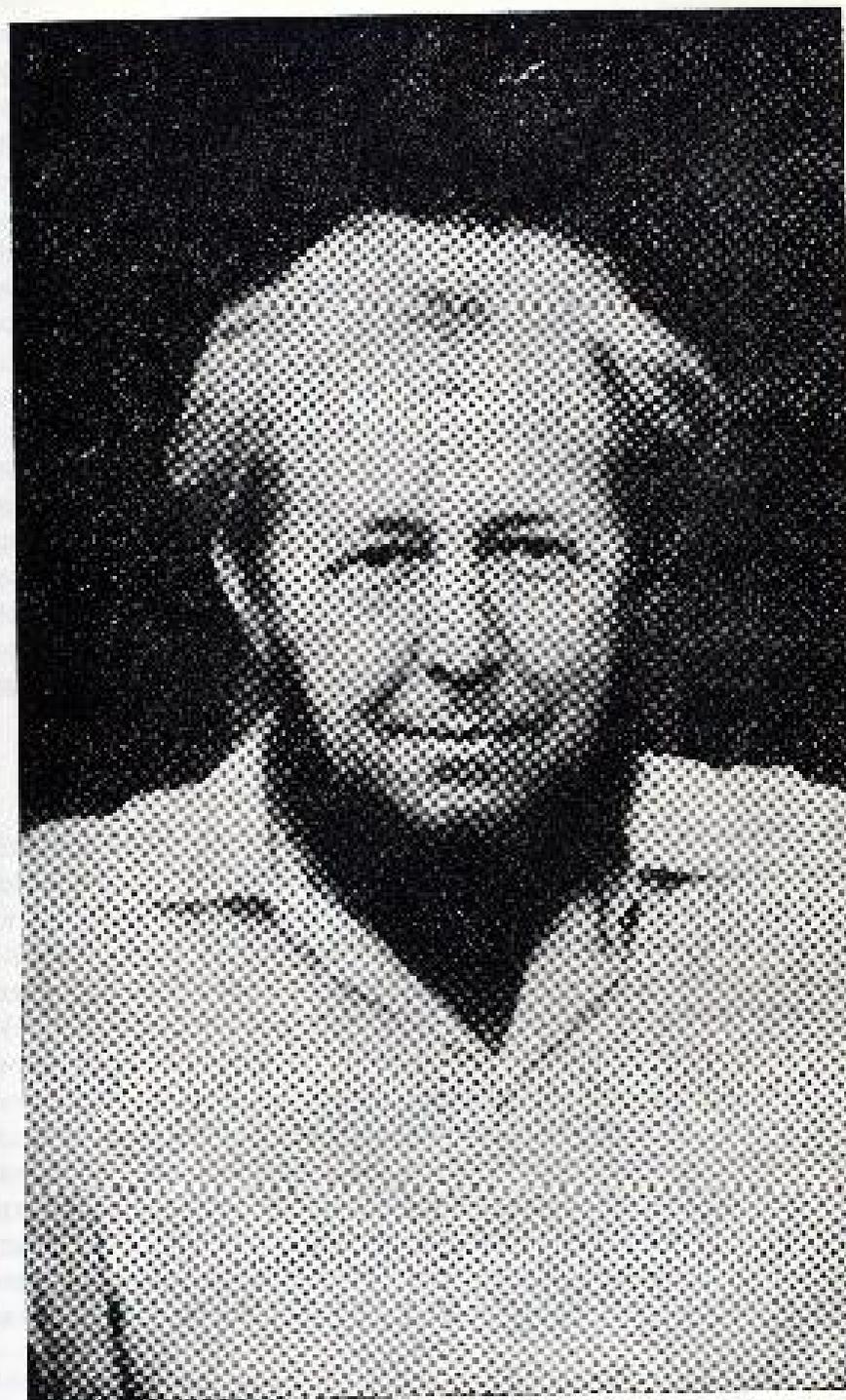
*«Под моими подошвами всю мою
жизнь — земля отечества, только
ее боль я слышу, только о ней
пишу».*

А. Солженицын.

Александр Исаевич Солженицын во всей подсоветской, да и вообще русской литературе, — явление исключительное и великое. Нет писателя равного ему по правдивому изображению сталинщины, лагерей, отрицательных сторон жизни под коммунизмом. Правда описана, действительность показана, в художественном воспроизведении их, огромным, своеобразным талантом. Ложь и бессовестность, жестокость и глупость — враги писателя. Знание разных сторон жизни СССР изумительное, образование широкое, храбрость в своей борьбе за правду и честность того, что сказано — героическая.

Обсуждалась рукопись РАКОВОГО КОРПУСА в секции прозы с активом 17-го ноября 1966-го года и на заседании Секретариата Союза писателей 22. IX. 67 г. Восторги сменялись поношениями и угрозами. Известная поэтесса — Белла Ахмадулина — воскликнула, обращаясь к Солженицыну: «Прекрасный человек! помолимся Господу Богу, чтобы Он дал здоровья Александру

*) Глава из ненапечатанной книги Р. Плетнева: А. Солженицын — великий писатель земли СССР.



А. И. Солженицын

Солженицыну!» Знаменитый писатель В. А. Каверин говорил о «необыкновенных высотах» воплощения прошлого, о внутренней своборе и могучем стремлении к правде... «Поставить людей разных профессий, разного уровня образования, разной степени нравственной тонкости лицом к лицу со смертью. Это задача огромная, — большая, чем в СМЕРТИ ИВАНА ИЛЬИЧА». Г. Березко: «Повесть производит оглушительное впечатление, вещь необычайной художественной силы...» М. А. Шолохов: «Сумасшедший. Не писатель. Антисоветский клеветник». А. Е. Корнейчук заявлял: «Ваши (Солженицына) выступления — только прокурорские».

Кожевников: «РАКОВЫЙ КОРПУС вызывает отвращение от обилия натурализма... главный план его — не медицинский, а социальный, и он-то неприемлем». Баруздин: «Раковый же корпус — антигуманистическая вещь. Конец повести подводит к тому, что «по другому пути надо было идти...» А. А. Сурков: «...Произведения Солженицына для нас, опасней Пастернака: Пастернак был человек, оторванный от жизни, а Солженицын — с живым, боевым, идейным темпераментом, это — идейный человек».

Так по-разному толковали писатели. Решение же было одно. Не печать Солженицына.

Жизнь под пятой Сталина.

Конечно, если читатель Запада возьмет 21-ый том Энциклопедии Британники 1961-го г. и прочтет статью о Сталине Исаака Дойчера (ранее пламенного польско-еврейского коммуниста), Сталин будет великой, спорной (controversial) личностью в истории. В этой статье чего, чего нет! Так, до Сталина у нас в России был не плуг, не трактор, а соха (деревянный плуг!) и т. п. Все это людям знающим экономику и развитие промышленности и до 1914 г. просто смешно. Наши автомобильные заводы были не хуже французских, наши фабрики выбрасывали более чем довольно ситца и тканей; у нас, как при Сталине, не пахали в России на женщинах в деревнях (см. «Матренин двор», «В круге первом»). Совершенно известно, что, при страшных жертвах в людях и материалах, скорость индустриального роста ни в одной из пятилеток не была большей чем в 1908-1914 г. г. (1) Солже-

(1) Значительно менее роста и японской промышленности после войны 1941-45 г. В своей книге советские ученые П. Лукьянова и А. Соловьева изд. 1966 г. «История химической промышленности в СССР» (стр. 111-116) признают: в 1900 г. в России производилось 75.000 серной кислоты, а в

ницын это знает. Он знает, что около 14-15 миллионов было в концентрационных лагерях, где продуктивность труда весьма низка, знает о шпионских кражах иноземных патентов, о неимоверной скудости и беспорядке даже, на ранее образцовых, русских железных дорогах. Сталин изображен, как тиран, вредитель развитию страны, бездарно проморгавший нападение и не подготовленный к войне, хотя 2 года уже она была в Европе. Жизнь зажата в кулаке МГБ. Для огромного большинства людей образованных или колхозных крестьян она также тяжка, опасна и скудна. Хочется опять вспомнить прежние славословия и дифирамбы Сталину, хотя бы, до отрезвления, в речах и статьях Джиласа и ему подобных. Война дала толчок к переосмыслению роли Сталина не только Солженицыну, но по всей видимости и В. Дудинцеву, а возможно и ряду других: Л. Чуковская, академик Сахаров и т. п. Была и есть особая мода в СССР на замалчивание ошибок, злодеяний, неполадок и узаконенного грабежа населения (случай государственных займов и неуплата процентов и т. д.). Сам советский юморист в КРОКОДИЛЕ 1969 г. хорошо это выразил. Стихи являются как-бы пародией на басню И. Крылова «Слон и Моська».

«Ай, Моська, до чего ж сильна она!
Не хвалит... И не лает на слона».

Моська в Империи смела хоть лаять на Слона, а Моська в СССР гордится тем, что смеет молчать и не хвалить! — Слова же Солженицына всегда правдивы, а критика — беспощадна при всей ее справедливости.

**

В Институте «литературу такую изучали там, будто все было на земле, кроме того, что видишь вокруг собственными глазами» (стр. 211). Это — Солженицын. А. Л. Осипова: «Социальный заказ и соцреализм — основы основ советской литературы... Лгут и должны лгать писатели. Сталин — непременно родной, жизнь — богатая, комиссар — чуткий. Советский читатель, утомленный своей трагической судьбой, требует (подсознательно) идилличе-

1916 г. уже 260.000 тонн. В 1900 г. 42.000 тонн фосфатов, а даже в 1909 г. было уже произведено 85.000 тонн. Вот, рост в дореволюционное время промышленности! Производство же азотной кислоты за 16 лет (1900-1916 г.) возросло в 39,8 раз! Комментарии излишни.

ской и лирической фикции (2). Есть целый ряд весьма важных в жизни советского народа явлений, о которых в современных романах за редчайшими исключениями нельзя найти ни строчки. Например: концлагеря, проституция, уход населения с немцами» (3). Это все или почти все затрагивает именно Солженицын. И только его стремление, во что бы то ни стало, к искренности уравнесило в глазах и ряда читателей в СССР отсутствие хэппи-энда, идиллии, красоты. Многие, увы, очень многие считали и считают верными для себя слова поэта:

«Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой».

Покойный Ю. И. Мишалов (4) цитировал журнал КОММУНИСТ, № 2 за 1965 г. Там сказано, что на определенном уровне «научная теория теряет самостоятельность и упирается в практику». Но если на практике нет и не было бесклассового общества и это идеалистическая надстройка теории, как быть с практикой неудач в течение пятидесяти лет? Как, видя теоретическую возможность такой ситуации в истории, объяснить, что она «оказывается практически нереализуемой». Эти идеи и сомнения знакомы и героям Солженицына. (Сологдин, частью даже Нержин). Все судится партией «бесклассового общества» «с классовых позиций» будь то кибернетика, этика, история или биология (5). Если же видна грубейшая ошибка осуждения, то партиец обязан утверждать, что это было «необходимо на данном этапе борьбы с капиталистическим окружением». См. возражения Радовичу со стороны Макарыгина о лжи пропаганды, искажения истории и т. д. В жизни кругом Ложь и Страх, упорство фанатиков, и «босая бедность» при надрывной работе; они все время в центре внимания Солженицына. Оттого-то в изображении людей и вещей он так близок русскому XIX в., его психологическому реализму. Чтоб воздействовать на «я» читателя необходимо нужно быть не только мастером слова, образного представления мира, но и быть доступно понятным в основном, доходчиво правдивым, видеть вещи и

(2) Отсюда некоторые из читателей «Один день Ивана Денисовича» обвиняли автора, что у героя «один желудок».

(3) См. Л. Т. Осипова: «Явное рабство и тайная свобода» Мюнхен, 1960, стр. 11, 12, 15, 22, 39.

(4) См. «Наука и идеология» Новый Журнал № 94, стр. 234, 235.

(5) Так, 5 сентября 1931 г. ЦКВКП(б), осудил педологию, как мракобесие и поповщину!

глазами обычного человека в СССР. Это и делает всегда Солженицын. Сам язык его, впитав советские слова, термины — чисто русский с примесью старых диалектических великорусских ядерных слов. Часто слова эти так подобраны, такие вещные, пластичные и сверкающие, что вот хочется их выбрать, положить на свою ладонь и любоваться. И хорошо, что нельзя: в отрыве от живой ткани повествования они потускнели бы, как блекнут слова в словарях.

Читаешь, читаешь Солженицына и какая-то особенная пекущая печаль обвивается вокруг сердца и крепко-накрепко стягивает его. Иной может и просто разболеться от книг страдания и горечи. Конечно, есть и свет горний, есть звук биения большого и чистого сердца, да горе — горькое, общенародное гореванье, все проникает. Есть и еще особенность во всем написанном этим Великим Страдальцем и борцом за человечность. Мне кажется, что автобиографичность ряда мест, огромность несправедливо наложенного креста страданий автора делают его особенно близким и просто осязаемым. Видишь его и в ледяном свете месяца на Севере с номерами на спине, груди и колене; а вот, опустив вниз голову от боли и тошноты лежит писатель в ташкентской больнице, или едет, сплотив плечи, с Герасимовичем в воронке из шарашки в тайгу. И в этом еще нарочито пронзительная боль его книг, очерков и рассказов. Читаешь, пьешь воздух России, но какой он тяжкий! Не вздохнуть полной грудью — боль и страстная горечь. И всюду Ложь и «серый призрак и подземный гул». Поперек теней сумрачных лагерных вышек легла, насупилась и не уходит тень Сталина.

Добровольная работа «по известному принципу полной добровольности» есть насмешка: работать будешь и в воскресенье — тоже «добровольно». Академики сидят по восемнадцать лет в тюрьме «без приговора». Сказал кто-то правду, что «из Эрмитажа (6) картину продали на Запад» — и оба получили по десять лет каторги. Лагерный опер Камышан бьет обычно «палкой по губам, чтобы сыпались зубы с кровью»... Каждый проходящий в тюрьме арестант в следственном корпусе «расписывался сквозь прорезь в жестяном листе, не видя фамилий ни до, ни после своей; взводили по лестнице, где против арестантского прыжка были натянуты частые сетки, как при воздушном по-

(6) Рафаэль, Тициан и другие из проданных картин украшают, напр., в Вашингтоне галерею Меллона. Ряд драгоценных предметов находится и в Торонто.

лете в цирке» (стр. 145). И кого, кого не водили по Лубянке! Кадеты, эсеры, анархисты, монархисты, октябристы, меньшевики, большевики. Были, прошли через эту тюрьму и Якубович, и Рамзин, Бухарин и Шульгин, Рыков и Савинков, Тухачевский и профессор Плетнев. Не избег ее и гениальный академик Вавилов, фельдмаршал Паулюс и генерал Краснов. Бывали всемирно известные ученые и поты, юноши, старцы, женщины, девушки, подростки. О тюрьме и ее истории, все большем мраке и зажиме — пишет Солженицын со всей силой правды. Не может он принять писаний типа героя В КРУГЕ ПЕРВОМ — Галахова. Хоробров так определяет эти попытки приукрасить действительность да позолотить жизнь в книгах: пишут в каком-то духовном параличе; одобряют «все шире принятую манеру писать как-бы не для людей, а для дурачков, которые жизнь не видели и по слабоумию рады любой побрякушке». Это очень напоминает рассуждения Елизаветы Анатольевны из РАКОВОГО КОРПУСА: «Близко я не знаю книг какие бы не раздражали. В одних — читателя за дурака считают», и т. д. Не случайно эта мысль повторяется и В КРУГЕ ПЕРВОМ. Подхалимство, ложь и лакировка не переносимы для нашего писателя. Да как и не быть и жизни и быту тяжкими в зажиме кулака МГБ?! Вот лейтенант МГБ — Смолосидов. «Даже веря, что в каждом творении есть что-то хорошее, трудно было отыскать это хорошее в его чугунном никогда не смеюшемся взгляде, в безрадостной нескладной пожимке толстых губ». По должности он получал малое жалованье, «правда, еще на тысячу воровал из института и продавал на черном рынке — дефицитные — радио-детали, но все понимали, что положение и доходы Смолосидова не ограничиваются этим».

Правда, есть бесстрашные люди типа инженера Бобынина. Когда сам Абакумов говорит ему «И вас заставим», Бобынин режет: «Ошибаетесь гражданин министр... У меня ничего нет, вы понимаете — Нет ничего! Жену мою и моего ребенка вы уже не достанете — их взяла бомба. Родители мои — уже умерли. Имущества у меня всего на земле — носовой платок, а комбинезон и вот белье под ним без пуговиц (он обнажил грудь и показал) — казенные. Свободу вы у меня давно отняли, а вернуть ее не в ваших силах, ибо ее нет у вас самого. Лет мне отроду сорок два, сроку вы мне отсыпали двадцать пять...» (стр. 77-78).

Пресловутое право и на платное учение в высших учебных заведениях для многих не сладко. Неподготовленные девушки «про-

бирались сквозь эту математику и радиотехнику, как сквозь непонятный, безвылазый бор. Но чаще всего «просто не было времени. Каждую осень на месяц и больше всех студентов угоняли в колхозы убирать картошку, из-за чего весь год потом слушали лекции по восемь и по девять часов в день, а разбирать конспекты было некогда». А там была и политучеба и обязательное недельное собрание, да еще стенгазета, да шефские концерты. Кроме того надо же было и дома что-то помочь сделать, не считая клуба или кино. Нагрузка большая, сверх нормы, а толку от нее мало.

А в чем и преступление многих? Да просто здоровому мозгу на Западе и не понять. В атмосфере вечного сыска, постоянно подогреваемой подозрительности самое слово есть преступление. Разумному человеку нельзя считать медицинское открытие, какой то препарат, — государственной тайной, да еще в мирное время. А тут и залегло преступление несчастного эпикурейца — Володина (7). Он, опасаясь за знакомого доктора — старика, посоветовал не показывать препарат западным коллегам. И вот за это и только за это, он и попадает под своды тюрьмы. Впрочем не он один, а еще некто, схожего тембра голоса, тоже арестован, по тому же подозрению. И... сидит. Когда везут арестантов на свидания, то не только осматривают весь автобус, но лезут и под автобус поглядеть, а нет ли кого и на рессорах под кузовом, хотя и «бесплотный бес не удержался бы там ни минуты!» Бдительность, бдительность до конца!

Иногда, редко в сущности, вступает в хор голосов шарашки под Москвой голос самого автора. О Нержине он говорит, а вместе с тем и о всей советской жизни: «Никогда бы Нержин не расставался с женой, и безмятежно прошла бы жизнь его в численном интегрировании дифференциальных уравнений, если бы родился он не в России, или не в те годы, или был бы не такой. Это в ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЕМ (8), у Гюго. Лантенак сидит на дюне. Он видит несколько колоколен сразу, и на всех на них — смятение,

(7) Иннокентий Володин приводит много цитат из Эпикура по-русски. Однако, обвиняет философа или почти насмехается над тем, что легко философствовать в саду о терпении в страданиях, о забвении, о пренебрежении своих мук. Здесь герой, а м. б. и сам автор, не справедлив. Судя по древним записям Эпикур в жестоких предсмертных муках думал о других: «А ты (друг) позаботься же о детях Метродора». Метродор оставил сирот.

(8) Точнее «ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ ГОД», о революции и Конвенте якобинцев (1874). Вероятно Солженицын читал его в русском пятнадцатитомном издании, Москва 1953 - 1956.

все колокола гудят в набат, но ураганный ветер относит звуки, и слышит он — безмолвие. Так каким-то странным слухом отрочества слышал Нержин этот немой набат — все живые звоны, стоны, крики, клики, вопли погибающих, отнесенные постоянным настойчивым ветром от людских ушей... Двенадцати лет... прочел процесс инженеров-вредителей. И этому процессу мальчик сразу же не поверил... Он явственно различал, что все это — ложь, ложь! Речь здесь, вероятно, или о процессе промпартии или о Шахтинском. Обвиняли неповинных инженеров во вредительстве. Судя по некоторым данным, причина сотен арестов была в страхе партии, что всю пятилетку захватят в свои руки техники. Иначе — боязнь того, что технократы смогут вытеснить партийцев. Нержин знал семьи инженеров «и не мог представить себе этих людей, чтобы они не строили, а вредили». (стр. 179) Нержина особенно занимал и позже вопрос почему жертвы, люди невинные и вперед осужденные, «брали на себя предсмертное самообольщение». Он мечтал испытать все, вплоть до тюрьмы, но узнать правду и главное, во всем разобраться: «узнать и понять! Узнать и понять!» Не знал бедный юноша ни того как называется самая главная тюрьма, ни особого закона жизни, — «что желания наши обязательно исполняются, если они по-настоящему велики». И все сбылось в жизни Нержина: он был арестован и привезен в тюрьму. Там нашел он людей не удивившихся ни его сомнениям, ни догадкам. Эти его сотоварищи, еще уцелевшие, во сто раз больше его знали и могли рассказать как оно и почему случилось. «Все сбылось и исполнилось, но за этим — не осталось Нержину ни науки, ни времени, ни жизни, ни — жены». Одна великая страсть — узнать правду «занявши нашу душу, жестоко измещает все остальное. Двум страстям нет места в нас». Эти слова сродные Пушкину («Пиковая дама») и Достоевскому («Преступление и наказание») толкуют и героину Нержина.

Но все ли понял Нержин, все ли ясно автору? Вопрос фанатизма партийцев, обожествления Вождя, начался ли только со времени прихода абсолютной власти Сталина? Не следует ли и в партии, в ее отрицании общечеловеческой этики, религии, веками созданных и проверенных традиций, в лозунге «цель оправдывает средства» — видеть причину основную и главную? Социализм, коммунизм не с сердцем милосердной любви, а с каменным лицом принуждения, с бичом смерти даже для инакомыслящих, грех утопизма, не отступающего от кровавого насилия — вина ли одного Сталина? На это творчество Солженицына прямого ответа не дает.

Вот, что есть Сталин и его режим говорят, вопиют книги писателя. Вот, что такое свобода религии рисует ярко ПАСХАЛЬНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД, это — издевательство, а не свобода. Но как же партия дала резать и бить лучших партийцев Ежову, Берии, Абакумову? Где первопричины рабологии перед Сталиным? Мы это знаем. И книги Солженицына помогают уяснить кое-что и из раннего процесса озверения фанатиков. Знает ли об этом в глубине души и сам писатель? Кто может проникнуть в тайники души Великого Правдолюбца?

Может быть, прав О'Коннор — русские большие писатели особенно внимательны, чутки к страданию. Они сострадают ближним и дальним, это — движущая сила их творчества. Оттого у писателя не только сострадание в искании причин мрака сталинщины, сострадание ко всем несвободным, ко всем узникам и мученикам режима, но и стремление Нержина понять прошлое в лице народников, их утопии и их преклонения перед страданием. И делается автор В КРУГЕ ПЕРВОМ тоже страждущим и мучающимся. Изю всех рассказов, повестей, романов, выступает и величаво грустная и до боли родная личность писателя. Неизгладимо врезается образ страстотерпца советской литературы. Лучшее всего о нем кончить его же словами. Ни больше, ни сильнее не скажешь: «В эту зиму я приехал в Ташкент почти уже мертвецом. Я так и приехал сюда — умирать».

А меня вернули пожить еще.

Это был месяц, месяц и еще месяц. Хрустальная ташкентская весна прошла за окнами, вступила в лето, повсюду густо уже зазеленело и совсем было тепло, когда стал и я выходить погулять неуверенными ногами... Мне надо было часто присаживаться, а иногда, от разбирающей тошноты, и прилечь, ниже опустив голову.

Я был и таким, да и не таким, как окружающие меня больные: я был много бесправнее их и вынужденно безмолвнее их. К ним приходили на свидание, о них плакали родственники, и одна была их забота, одна цель — выздороветь. А мне выздоравливать было почти что и не для чего: у тридцатипятилетнего, у меня не было во всем мире никого родного в ту весну. Еще не было у меня паспорта, если б я теперь выздоровел, то надо было мне покинуть эту зелень, эту многоплодную страну и возвращаться к себе в пустыню, куда я сослан был навеки, под гласный

надзор, с отметками каждые две недели, и откуда комендатура долго не удабривалась меня и умирающего выпустить на лечение.

Об этом всем я не мог рассказать окружающим меня вольным больным.

Если б и рассказал, они б не поняли...» (9).

Так говорит с нами намолчавшаяся душа Великого писателя. Мы-то пойдем его!

НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ

Из стихов последних лет...

Наталья Горбаневская — прежде всего замечательная русская женщина. Она принадлежит к тем, кого теперь в Сов. России принято называть «самосажателями», подобно тому как в старину называли некоторых староверов «самосжигателями». Она участвует во всех демонстрациях против насилия, несмотря на то что мать двоих маленьких детей. Ее подпись стоит под декларацией группы лиц, требующей от Советского правительства соблюдения человеческих прав. Свое стояние за правду Наталья Горбаневская закрепила жертвой: в декабре 1969 г. она была арестована.

Но помимо гражданской доблести, Наталья Горбаневская — талантливый поэт. В ее стихах много свежести, чувствуется подлинный голос. Собрание ее стихов должно в скором времени выйти в издательстве **Посев**. Ред.

Не сокруши меня ты, Господи,
не проиграй меня в очко,
не прогони бродягой по свету
идти, не веря ни во что.

Ты, что по морю яко по суху
прошел, ступая широко,
не отпусти меня без посоха
в земных страданий решето.

(9) «Правая кисть».

Ты, Боже, сыне человеческий,
коли решил на эти плечи
ярмо с бубенчиком надеть,
не отпусти меня свободной,
не попусти в ночи холодной
душе моей заледенеть.

1965

ВОСКРЕСЕНЬЕ

День стирки и стихов. Склоняясь над тазами
ворчу и бормочу, белье в руках кручу,
а белое в ведре зеленом кипячу,
а пена мыльная дрожит перед глазами.

Как радостны стихи, вертясь во рту моем,
как радужны круги в глазах моих качаясь,
а розы, на поллине мокрою начинаясь,
поплыли на стенах, на стеклах, за окном.

Но под конец игры отяжелеют руки,
и не в игру игра, и в горле как дыра,
и, протянув веревку посреди двора,
я с голосом своим не оттяну разлуки.

1965

**

Любовь, любовь! Какая дичь,
какая птичья болтовня.
Когда уже не пощадить,
не пожалеть меня,
то промолчи. Да, промолчи,
не обожги моей щеки
той песенкой, что, заучив,
чирикают щеглы.

Той песенкой, где, вкось и вкривь
перевирая весь мотив,
поэт срывается на крик,
потом на крики птиц,

потом срывается на хрип,
на шепот, на движенье губ,
на темное наречье рыб
и на подземный гул.

Любовь из каждого угла,
всего лишь пища для стихов,
для глупой песенки шегла,
для крика петухов.
Так промолчи. И помолчи.
Коснись рукой моей щеки.
Как эти пальцы горячи.
Как низки потолки.

1965

**

Не потому что ты, не потому что я,
а просто выгорала из-под ног земля.

Не потому что я, не потому что ты,
а просто лето, нас обняв обоих,
поставило меня перед тобою
так близко, что уже не отойти.

Вчерашний жар с железных крыш спадал,
и духота стихала перед утром,
но, возносясь над сонным переулком,
из трех окон не утихал пожар.

И при разлуке слез не пролилось
ни из одной глазницы обожженной,
и до сих пор, как факел обнаженный,
я вся смолой пропитана насквозь.

1965

**

Снежинки на ресницах закипают,
и дымом застелился горизонт.
Меня сожжет моя тридцатая зима,
но это знаю только я сама.

1965

Ю. Галанскову.

В сумасшедшем доме
выломай ладони,
в стенку белый лоб,
как лицо в сугроб.

Там во тьму насилья,
ликом весела,
падает Россия,
словно в зеркала.

Для ее для сына —
дозу стеллазина.
Для нее самой —
потемский конвой.

1966

**

Ты — горе мое. Ну, горе мое, засмейся.
Веревочки вьет из меня туманный месяц.

Но все не о том, да нет, не о том глотаю слезы,
хватаю, как рыба, белым ртом холодный весенний воздух.

Ну, горе мое, улыбнись, проскочи по той дорожке,
где исступленный дятел стучит
да теремок замшелый стоит
на курьей ножке.

1966

**

С У Х А Н О В О

Безлиственная легкость
пустых апрельских рощ,
зеленых мох, прозрачный
ручей, холодный хвощ.

Беспамятная легкость
как сном размытых слов,
прозрачный день, зеленый
осинник в сто стволов.

Реки изгиб холодный,
и в дальнем далеке
скрипит прозрачный ветер
в румянном ивняке.

1966

**

Здесь, как с полотен, жжется желтый полдень,
и самый воздух, как печаль, бесплотен,
и в полной тишине летучим войском
висят вороны в парке воронцовском.

Но ветхая листва из лет запрошлых
к моим локтям цепляется, к ладошкам
прокуренным, и в спутанные кудри
пустой кустарник запускает руки.

Я так далеко отошла от дома,
как самолетик от аэродрома
в густом тумане в темень отплывая...
Жива, мертва, листва или трава я?..

1966

**

Афродита, белая пена с плеч,
как росток изогнутый, в небо ткнись,
то ли грязный помазок, то ли плеть,
просыхает ботичеллиева кисть.

Мастер подкошенный от холста
отошел и взглядывает тяжело,
Афродита, мокрые волоса
провисают, как эротово крыло.

Афродита, облачко, в наш век
залетишь ли из его худых рук?
Краски капелька, вниз-вверх,
полоса — складка, грудь — круг.

1966

**

А это не жизнь и не площадь,
а просто пустой балаган,
сопит в загородочке лошадь,
сквозит холодок по ногам.

И спущены флаги снаружи,
трапедии сняты внутри,
желтеют и кружатся стружки,
тускнея, дрожат фонари.

Так сматывайте веревки
и шаткий грузите фургон,
до самой последней ночевки
остался один перегон.

**

И жить не хочется, и чувствовать невмочь,
и нету сил страстям и сожаленьям,
и даже ночь щемящим наслажденьем
меня, свою безрадостную дочь,

не воротит и не привяжет к жизни.
Вчерашний день, прощай, и ты прощай,
день завтрашний. И в чьей еще отчизне
так мягко выстрел в отворот плаща...

1967

**

Горстку снега протяни,
я ладонь тебе целую,
никому про эти дни,
и не плачу, не тоскую.

По сугробам снегири,
как теплы твои ресницы,
горстку снега подари,
по осиннику синицы.

По осеннему снежку
частокол короткой травки,
я сама себя сожгу
в горстке снега.

1967

Памяти Корнея Ивановича Чуковского

(1882—1969)

Русская литература понесла большую утрату. 27 октября 1969 года, на 87 году жизни, после продолжительной болезни, умер известный детский писатель и литературный критик Корней Иванович Чуковский. Журналист, знаток английской литературы, переводчик Уолта Уитмана, кропотливый исследователь и издатель творчества Некрасова, Корней Чуковский получил всероссийскую славу благодаря детским сказкам, написанным между 1917 («Крокодил») и 1929 («Айболит») годами. На «Мойдодыре», «Бармалее», «Айболите» воспитывалось уже не одно поколение детей. Условия сталинизма не могли не повлиять отрицательно даже на детского писателя: «Сказки вызвали, — как вспоминает сам автор, — жестокие нападки рапповцев, пролеткультцев, педагогов». Почти все написанное Чуковским после 1930 года по качеству и силе выражения значительно уступает его более ранним произведениям.

Ниже мы печатаем небольшую главку из «Книги об Александре Блоке», составленной еще при жизни поэта, но вышедшей уже после его смерти, в 1922 году. Эта книга, плод тесной дружбы с А. Блоком — одно из лучших произведений Чуковского-критика — никогда не переиздавалась, а все что позже Чуковский писал о Блоке сильно страдает от оглядки на цензуру.

По имеющимся данным, Корней Чуковский был отзывчив на чужую беду, и поскольку это было возможно, помогал опальным писателям. Читатель найдет здесь его искренний, непосредственный отклик на смерть Анны Ахматовой. Наконец, мы печатаем ряд неизданных писем К. Чуковского к парижским детям. По ним можно судить о том необыкновенном даре общения с детьми, который Чуковский сохранил до конца своих долгих дней. В автобиографии Чуковский писал, что «общение с детьми — своими и чужими — любимейший его отдых». Нечто детское, простодушное и глубоко-искреннее было и в самом Чуковском — «все-таки очень хорошем писателе» (В. Розанов) и несомненно добром человеке современной России.

Н. С.



К. И. Чуковский
и Ольга Жирова, член Р.С.Х.Д.

К. ЧУКОВСКИЙ

«ДВЕНАДЦАТЬ» А. БЛОКА *)

В поэме **Двенадцать** Блок вывел Россию еще более падшую и опять повторил слово в слово:

Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

Тут упрямый национализм, который, не смущаясь ничем, хочет видеть святость даже в мерзости, если эта мерзость родная. Тут такая вера в свой народ, в неотвратимость его высоких судеб, что человек и сквозь сифилис видит красоту ослепительную.

*) К. Чуковский. Книга обь Александрѣ Блокѣ. Эпоха. Берлинъ, 1922.

Странно, что никто до сих пор не воспринял «Двенадцати», как национальную поэму о России, как естественное завершение того цикла патриотических «Стихов о России», который ныне в его третьем томе носит название «Родина» и некогда был издан патриотическим журналом «Отечество» *).

Всех изумило содержание поэмы: двенадцать красноармейцев, убийц и погромщиков вдруг оказались у поэта апостолами, во главе которых сам Христос. В руке у Христа — красный флаг, а сзади — паршивый пес — воплощение старого буржуазного мира.

Только нищий пес голодный
Ковыляет позади.

Мудрено ли, что эту поэму сочли гимном одной из политических партий? Французы, немцы, англичане, итальянцы так и поняли эту поэму. Они перевели ее на свои языки и написали о ней бездну статей именно потому, что увидели в ней партийный коммунистический гимн, нечто вроде нового Интернационала. Итальянский переводчик так и озаглавил ее *Canti Bolscevichi*, и кто может упрекнуть его за это? Но мы, русские, кому доступно высокое счастье читать это гениальное произведение в подлиннике, должны были бы почувствовать иное.

Прежде чем думать об этих стихах или спорить о них, нужно просто послушать их ритмическую, звуковую основу, которая у Блока главнее всего, потому что его ритмы сильнее его самого и говорят больше, чем он хотел бы сказать, — часто наперекор воле.

И первое, что мы услышим, — есть русская, древняя, простонародная песня:

Ох, ты горе-горькое!
Скука скучная,
Смертная!..
Выпью кровушку
За зазнобушку,
Чернобровушку.

И русский старинный романс:

Не слышно шуму городского,
Над невской башней тишина.

*) Александр Блок. Стихи о России. Изд. журнала «Отечество». СПб 1915 г.

И русскую солдатскую частушку:

Эх, ты горе-горькое,
Солдатское житье!
Рваное пальтишко,
Австрийское ружье.

И какие национальные звуки в этих тягучих словах с ударением на четвертом слоге:

Крутит, крутит черный ус,
Да покручивает,
Да пошучивает...
Катьку-дуру обнимает,
Заговаривает...
Ах, ты, Катя, моя Катя,
Толстоморденькая.

Отнимите у этих стихов их национальную окраску, и от них ничего не останется, потому что это не окраска, а суть. И любовь, которая изображается в них, любовь Петьки и Катьки, есть та самая бедовая удаль, то хмельное разгулье, то восторженное упоение гибелью, в которых для Блока самая сущность России. Тут — даже в звуках — русский угар и безудерж:

— Ох, товарищи, родные,
Эту девку я любил.
Ночки черные, хмельные,
С этой девкой проводил...
— Из-за удали бедовой
В огневых ее очах,
Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча,
Загубил я, бестолковый,
Загубил я сгоряча... ах!

Недаром в этой поэме гуляет тот излюбленный Блоком отчаянный ветер, которым охвачены все его стихи о России. В поэме нет ни одного эпизода, который не был бы обвеян этим ветром, и какими русскими простонародными словами воспевается здесь этот ветер:

Разыгралась чтой-то вьюга:
Ой, вьюга, ой вьюга!

Не видать совсем друг друга
За четыре за шага!
Снег воронкой завился,
Снег столбушкой поднялся.

В этом по-народному воспринятом ветре Блок уже давно ощутил революцию. Русскому поэту, который сказал о себе:

Я сердце вьюгой закрутил,

Что же ему было и петь, как не родную ему революцию? Он уже давно, много лет, сам того не подозревая, был певцом революции, но не той революции, которая происходит теперь, а другой, национальной, русской, потому что, как мы видели, Россия, уже сама по себе, была для него революцией. И нынешнюю нашу революцию он принял лишь постольку, поскольку она воплотила в себе русскую народную бунтующую душу, ту самую, которую воспел, напр., Достоевский. Остальные элементы революции остались ему чужды совершенно. Он только потому и поверил в нее, что ему показалось на одну короткую минуту, будто в этой революции — Россия, будто эта революция — народная. Для него, как и для Достоевского, главный вопрос: с Богом ли русская революция, или против Бога. Тут самый крайний национализм, и не дико ли, что никто из писавших о поэме «Двенадцать», — а о ней написаны сотни статей, — так и не догадался об этом. Читали ее без конца, спорили о ней до хрипоты, — не поняли ни единого звука. Никто даже не подумал о том, что для понимания этой поэмы нужно знать прежние произведения Блока, с которыми она органически связана. Кричали, что в этой поэме Блок изменил себе, что это новый неожиданный Блок, несколько не похожий на старого. Ужасались: «кто бы мог подумать, что рыцарь «Прекрасной Дамы», певец «Соловьинного Сада» опустится до такой низменной темы?» Но мы, следившие за творчеством Блока, знаем, что здесь не новый, а старый Блок, и что тема «Двенадцати» есть его давнишняя привычная тема. В «Двенадцати» изображены: проститутка, лихач, кабак, — но мы знаем, что именно этот мир проститутток, лихачей, кабаков давно уже близок Блоку. Он и сам давно уже один из «Двенадцати». Эти люди давно уже его братья по вьюге. Если бы они были поэты, они написали бы то же, что он. Кровно, тысячу жил он связан со своими «Двенадцатью», и если бы даже хотел, не мог бы отречься от них, потому что в них для него воплотилась Россия. Ведь даже кощунство «Двенадцати»,

эти их постоянные возгласы: «Эх, эх, без креста!», «пальнем-ка пулей в святую Русь!» — давнишнее занятие Блока, который уже со времен «Балаганчика» чувствует «роковую отраду в попираньи заветных святынь» и про музу свою говорит, что она «смеется над верой». Это кощунство он изображает опять-таки преувеличенно-национальными чертами. Его отпетый Петька, поножовщик, тоскуя по застреленной им Катьке, твердит:

Упокой, Господи, душу рабы Твоя.

И постоянно повторяет Божье имя, что даже возмущает остальных, так как они понимают, что дело, которое они делают, им нужно делать без Бога, что о Боге им нужно забыть, потому что у них руки в крови, но в самой этой мысли, что Бог не для них, есть жгуче-религиозная память о Боге, которая свойственна даже русским безбожникам, потому что только русский, отрекшись от Бога, чувствует себя окаянным, и ни на миг не забудет, что он отрекся от Бога. В безбожьи для него такая свобода, которой никакому сердцу не вынести: «все дозволено» и «ничего не жаль». «Свобода, свобода! Эх, эх без креста!» И когда эти двенадцать, встретив в каком-то переулке бродягу, сентиментально лобызают его: «Эй, бедняга, подходи, поцелуемся», — они и этим для Блока родные, потому что он давно уже точно так же лобызался с бродягами, прославляя их, как избранников вьюги, «как шатунов, распятых у забора». Давно уже он проникся национальной эстетикой бродяжничества. И даже то, что двенадцать говорят о поле, было когда-то сказано Блоком. Даже нож, который давно уже неотделим для Блока от соперника, есть тот самый русский национальный нож, который давно уже неотделим для Блока от русской вьюги и русской любви, о котором Блок задолго до «Двенадцати» сказал в стихотворении «Русь»:

И девушка на злого друга
Под снегом точит лезвие.

Словом, чем больше мы всматриваемся, тем яснее для нас тот многозначительный факт, что в нынешней интернациональной России великий национальный поэт воспел революцию национальную.

Он никогда не говорил о России —

Ты знаешь край, где все обильем дышит,
Где реки льются чище серебра?

Или:

Русь, что выше и что ярче,
Что смелей и что святей?
Где сияет солнце жарче,
Где сиять ему милей?

Другой поэт, даже враждебный революции, пытался бы увидеть в ней хоть что-нибудь светлое, хоть одного героя или праведника, — Блоку это не нужно: он хочет любить революцию вопреки ее героям и праведникам, принять ее всю целиком даже в ее хаосе и смраде, потому что эта революция — русская.

Пусть эти двенадцать — громилы, полосующие женщин ножами, пусть он и сам говорит, что их место на каторге («на спину б надо бубновый туз»), но ведь на то он и Блок, чтобы преобразовать самое гнусное в святое. Разве прихорашивал он ту трактирную девку, которая открыла ему

берег очарованный
И очарованную даль.

Разве он скрыл от себя, что она вульгарна и пьяна? Разве он прихорашивал своего свиноподобного хама, когда захотел в его образе прославить Россию? То же случилось и здесь. Он преобразил, не прикрашивая. Пусть громилы, но и с ними Христос.

У Блока это не фраза, а пережитое и прочувствованное, потому что выражено не только в словах, но и в ритмах. Только те, кто глухи к его ритмам, могут говорить, будто превращение этих хулиганов в апостолов и появление во главе их — Иисуса Христа — есть ничем не оправданный, случайный эффект, органически не связанный с поэмой, будто Блок внезапно, ни с того, ни с сего, на последней странице, просто по капризу, подменил одних персонажей другими и неожиданно поставил во главе их Иисуса Христа.

Те же, кто вслушались в музыку этой поэмы, знают, что такое преобразование низменного в святое происходит не на последней странице, а с самого первого звука, потому что эта поэма, при всем своем вульгарном словаре и сюжете, по музыке своей торжественна и величава. Если это и частушка, то — сыгранная на грандиозном органе. С самых первых строк начинает звучать широкая оркестровая музыка с нарастающими лейтмотивами выюги.

Все грубое тонет в ее пафосе, за всеми ее гнусными словами мы чувствуем широкие и светлые дали. Я уверен, что научный

ритмико-музыкальный анализ мог бы вполне объективно установить это поглощение низменного сюжета возвышенным ритмом. Происходит непрерывное чудо. Вся поэма — хоть и народная по своему существу — обросла, словно плесенью, нынешним смердяковским жаргоном, но этот жаргон подчинен такой мощной мелодии, что почти перестает быть вульгарным, и даже такие слова, как «сукин сын», «паршивый», «стервец», «толстозадая», «падаль», «холера», «елекстрический», «керенка», «буржуй», — даже эти слова поглощаются ею и кажутся словами высокого гимна. Вырванные из текста они сами по себе очень вульгарны:

Он в шинелишке солдатской
С физиономией дурацкой.

Но есть ли такая вульгарность, которой не могла бы преобразить в красоту магическая ритмика Блока? Этой ритмикой появление Христа подготовлено уже с первой страницы. Чуткие уже с первой страницы почувствовали, что этот гимн — о Боге.

Но, конечно, Блок не был бы Блоком, если бы в этой поэме не чувствовалось и второго какого-то смысла, противоположного первому. Простой, недвусложной любовью он не умел полюбить ни Прекрасную Даму, ни Незнакомку, ни родину, ни революцию. Всегда он любил, ненавидя, и верил, не веря, и поклонялся, кощунствуя, и порою такая сложность бывала ему самому не под силу.

Часто он и сам не понимал, что такое у него написалось, анафема или осанна, и кто не помнит того томительного и напряженного вдумыванья, с которым он говорил о «Двенадцати», спрашивая себя, что это, и не умея ответить. Он внимательно вслушивался в чужие толкованья этой поэмы, словно ожидая, что найдется же кто-нибудь, кто объяснит ему, что она значит. Но дать ей одно какое-нибудь объяснение было нельзя, так как ее писал двойной человек, с двойственным восприятием мира. Эту поэму толковали по всякому и будут толковать еще тысячу раз, и всегда неверно, потому что в ее лирике слиты два чувства, обычно никогда не сливаемые. Тут Марсельеза и *Mein lieber Augustin* вместе. Но что же делать, если во всем своем творчестве он всегда сливал Марсельезу и *Augustin*'а, если эту толстоморденькую Катю он всегда ощущал одновременно и как тротуарную девку и как Деву Очарованных Далей, если Христос ему всегда являлся с Антихристом. Его «Двенадцать» будут понятны лишь тому, кто сумеет вместить его двойное ощущение революции, слить в один органический сплав омерзенье и обожанье.

Обожанье у Блока взяло верх, потому что вообще он был поэт обожаний. Марсельеза у него всегда торжествовала над Augustin'ом. Всегда и в Незнакомке, и в стихах о России он начинал с омерзенья для того, чтобы в конце появился Христос. Но, конечно, революция, которую он пел, была не та революция, которая совершилась вокруг, а другая — подлинная, огненная. Едва только ему показалось, что совершающаяся вокруг не похожа на воспетую им, что это не ветер, но штиль, который только притворяется ветром, он отрекся от нее навсегда и снова стал томиться о ветре:

Что за пламенные дали
Открывала нам река,
Но не эти дни мы звали,
А грядущие века.

Я назвал его поэму «Двенадцать» гениальной. Он для моего поколения величайший из ныне живущих поэтов. Вскоре это будет понято всеми *). Его темы огромны: Бог, любовь, Россия. Его тоска вселенская: не о случайных, легко поправимых изъянах того или иного случайного быта, но о вечной и непоправимой беде бытия. Даже скука у него «скука мира». Даже смех у него — над вселенной.

И всегда, во всех его стихах, даже в самых слабых, чувствуется особый, величавый, печальный, торжественный, благородный, лермонтовский, трагический тон, без которого его поэзия не мыслима. Даже цыганские песни, которые так часто звучат в его книгах, до неузнаваемости облагорожены у него этим величаво-трагическим тоном. Было в нем то тяжелое пламя печали, о котором он говорит в своей последней поэме. Именно тяжелое. Его душа была тяжела для него, он нес ее через силу — как тяжесть. В ней не было никакой портативности, легкости, мелкости. Если был даже он захотел, он не мог бы говорить мелко о мелком, только об огромном и трагическом. Он был Лермонтов нашей эпохи. У него была та же тяжелая тяжба с миром, Богом, собою, тот же роковой, демонический тон, та же тяжесть неумеющей приспособиться к миру души, давящей как бремя. То, о чем он писал, казалось таким выстрадавшим, что, читая его, мы забывали следить за ухищрениями его мастерства. Его изумительная техника изумительна именно тем, что она почти незаметна. Это у ма-

*) Теперь, после его кончины, я радуюсь, что еще при его жизни произнес это ответственное слово.

лого поэта мы говорим с восхищеньем: «какой у него оригинальный прием!» — «какое мастерство инструментовки!» — «какая ловкая и смелая аллитерация!» Но у поэта великого, у Лермонтова или Блока, вся техника так органически спаяна с тем, что некогда называлось душой, что мы хоть и очарованы ею, но не подозреваем о ней. Мы читаем и говорим: «Там человек сгорел», а виртуозно он горел или нет, забываем и подумав об этом. «Там человек сгорел», такова тема Блока: как сгорает человек — от любви, от веры, от безверья, от отчаяния, от иронии, и естественно эти стихи о человеке, сжигаемом заживо, казались не просто стихами, — но болью. Для читателя это не просто произведения искусства, но дневник о подлинно переживаемом. Блок и сам в автобиографии называет их своим дневником.

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ

Выдержки из письма Корнея Чуковского, написанного в день смерти Ахматовой.

...Для меня она навсегда останется той гибкой, тонкой, застенчивой женщиной, к которой подвел меня ее муж, Николай Гумилев. С ним я три года подряд работал во «Всемирной Литературе» Горького (1), Главное его чувство было — литературное честолюбие. Он считал себя ее учителем, ее поэтическим ментором, каким-то придатком к своей славе. И вдруг — после войны — оказалось, что вся слава у нее: о ней пишутся статьи и книги (2), о ней читаются лекции, а он по-прежнему в тени. В те годы я встречался с ними часто.

Она была необычайно добра: подарила мне во время голода жестянку сгущенного молока для моей умиравшей от голода дочери, жила бедно, спала под рваным одеялом, охотно отдавала всем последнее и при этом была добродушна, много смеялась, и был у нее кружок «свой», где она вела себя нараспашку — и в то же время у ней под ногами вырос сам собой пьедестал. Пье-

(1) Издательство, основанное Горьким. Гумилев, вместе с А. Блоком и М. Лозинским, стал одним из редакторов поэтической серии.

(2) Имеются здесь в виду книги Б. Эйхенбаума и В. Виноградова, вышедшие уже после смерти Гумилева в 1923 и в 1925 г.

дестал этот безостановочно рос, и она мало-помалу привыкла относиться к себе, как к памятнику. Даже во время ее тяжелых страданий этот пьедестал не исчезал ни на миг. Сейчас она два месяца провела в больнице, у нее был третий инфаркт, который она перенесла сравнительно легко; бодрая, радостная, она уезжала в санаторию; там она была светлая и звонила друзьям, приглашая их в гости — и вдруг ночью начался четвертый инфаркт, и она скончалась. Я как раз закончил небольшую статью о ее первом муже, все хотел ей почитать, но вот не пришлось (3). Верно писала она в своем Комарове:

Здесь все меня переживет...

ПИСЬМА К ПАРИЖСКИМ ДЕТЯМ

21-4-66

Дорогая ...

Я рад, что ты не боишься «Бармалея». Ведь он очень страшный. Спасибо тебе за письмо. Пожалуйста, поцелуй от меня Д. и М.

Как хорошо ты умеешь писать. Пожалуйста, пиши мне еще. Сегодня были у меня в гостях соседские дети, принесли мне букетик цветов и вот такую свистульку: глиняную. (Рисунок свистульки).

Мы пошли с ними в лес и видели ёжика. У нас в лесу много белок, но нарисовать их я не могу. Впрочем, попробую: (рисунок белки). Нет, не умею. Видела ли ты живую белку?

С любовью

Корней Чуковский.

13-5-66

Милая, дорогая Б.!

Какая ты умница: умеешь писать такие длинные письма. Пришли мне, пожалуйста, твою фото-карточку. Я никогда не видел тебя, и очень хотел бы посмотреть на твой портрет и портрет Д.

(3) Статья К. Чуковского о Гумилеве напечатана не была.

Мой портрет я тебе посылаю: (рисунок).

Я пишу эти строки в лесу. Кричит кукушка, птицы поют хором на все лады — так, что кажется, будто поют кусты и деревья. Один скворец, подслушав, как стучит у меня пишущая машинка, стал подражать этому стуку. Кажется, что машинка сидит на дереве и стучит тук, тук, тук. Издали нельзя отличить. Перед моим балконом скворешник. В этом году туда забралась белка и там у неё родилось пять бельчат. И посмотрела бы ты, как она учит их прыгать по деревьям! Бедные скворцы летали вокруг скворешника, но она не пустила их туда. Теперь она убежала и там поселились воробьи.

Не знаешь ли ты, почему морские свинки называются морскими? И как сказать по-французски: «морская свинка»?

Твой друг

Корней Чуковский.

Переделкино

Как твоё здоровье?

Переделкино, 12-6-66.

Дорогая, милая Б.!

Спасибо тебе за письмо, за фото-снимки, и за картинку «Ваня и Маша».

Какая ты умница, — хоть и живешь во Франции, но умеешь говорить и писать по-русски.

Вчера у меня в гостях были два поэта. Гуляя в моем лесу, они поймали большого ежа. Завернули его в пиджак (потому что он очень колючий) и принесли ко мне. Долго он лежал комочком, но развернулся, и я увидел, какие у него умные красивые глаза. Вскоре он свыкся с нами и пошел гулять по всему дому. Мы снаесли его вниз, показать моей дочери, а потом пошли обедать и не заметили, как он убежал. Поэты бросились его искать, обшарили весь лес и не нашли. Если он найдется, я напишу.

А у моих знакомых детей, живущих по соседству, есть лиса. Живет она в клетке и очень скучает. Решили, что она голодна и бросили ей в клетку большую, живую курицу. Думали, что лисица в одну минуту растерзает её. Но случилось чудо: курица на-

бросилась на лису и давай её царапать, бить крыльями. Лиса забилась в угол и чуть не заплакала.

Я долго рассматривал Ваши портреты, и мне очень весело, что у меня такие друзья. Неужели М. тоже говорит по-русски? Пожалуйста, поцелуй ее от меня. Я так внимательно всмотрелся в ваши лица, что если бы вы вошли ко мне в комнату, я сразу узнал бы вас и сказал бы: Здравствуй М., Здравствуй Д., здравствуй Б.! и пошли бы гулять с вами по моему громадному лесу, и я показал бы вам чудесную полянку, где я поставил эстраду и ряды длинных скамеек. Здесь каждый год у меня бывает костер. Я приглашаю лучших фокусников, жонглеров, писателей, певцов и каждый год, в июне, ко мне в лес приходят около двух тысяч детей. Плата за вход — десять шишек. В этом году костер будет 19-го в воскресенье. Я очень волнуюсь! Не было бы дождя! Дети приезжают в автобусах, приходят группами, дети нашего посёлка и многих окрестных деревень — все очень нарядные, одетые по-праздничному. Теперь, если я выхожу на улицу, ко мне бросаются мальчики и девочки с одним вопросом: скоро костер?

Если не будет дождя — я попрошу друзей снять наш праздник и пришло вам троем снимки.

Целую твою лохматую голову

Корней Чуковский.

Переделкино, 12-6-66.

Дорогой Д.!

Если бы cochon d'Indes назывался морской свинкой из-за того, что он живет за морем, тогда он назывался бы заморская свинка.

Мне уже 84 года, и приехать в Париж я не могу: очень стар. В Париже я был всего лишь раз — в 1916 году. Но по книгам и по картинам я легко представляю себе этот чудесный город.

Пожалуйста, передай привет Маме, Папе, Б. и М.

Кто из вас лучше учится — ты или Б. Надеюсь, что вы НИКОГДА не деретесь.

Посылаю Вам картину одной моей знакомой девочки (12 лет).

С дружеским приветом

Корней Чуковский.

Д. С. ДАРСКИЙ

Опять на Родине^{*)}

К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ В. В. РОЗАНОВА

(1856—1919)

I.

«Я думал, что все бессмертно. И пел песни. Теперь я знаю, что все кончится. И песнь умолкла».

Таким меланхолическим приливом ознаменовалось вступление Розанова в черный период его жизни, период «Уединенного» и «Опавших листьев».

То не было простое впадение в полосу старости, границы которого неуловимы, а последствия становятся заметны только спустя значительный промежуток времени. Нет, это был новый перелом душевного мира, катастрофический переворот, когда прорвалась цветущая поверхность доголе счастливого существования и уродливым изломом обнажились иные пласты, угрюмые и каменистые. Умолкли песни радости и пантеистического ликования, замолчал неслыханный бунт и наступило гнетущее состояние, прерываемое лишь вздохами тоски, стонами боли или воплями отчаяния. Как ни отбивался Розанов от креста и трагедии, — трагедия пришла и надо было так или иначе сживаться с ней.

Но если перелом обозначился внезапно, то подготовляться он начал исподволь и издалека. Подкралась старость, приближалась смерть, подступали невзгоды и бедствия — обычные спутники заката.

^{*)} Из книги о В. Розанове, подготовленной к печати литературным критиком Дмитрием Сергеевичем Дарским (1883—1958) в 1923 г., но так и не вышедшей. В скором времени эта первая большая работа о Розанове выйдет в издательстве УМСА-Press.

В. Розанов принадлежит к тем великим русским писателям, чья литературная реабилитация в Советской России еще не началась и вряд ли, в теперешних условиях, может начаться.

«Закатывается, закатывается жизнь. И не удержать. И не хочется удерживать. Остались немногие хмурые годы, старые, тоскливые, ненужные... Как все становится не нужно. Боже, до чего не нужно. Это главное ощущение старости. Как все изменилось в мысли соответственно этому положению. Как теперь не хочется веселья, удовольствий. О, как не хочется. Не «тяжело это время», но **каждый час тяжел**. («Уединенное». С.-Петербург, 1912, стр. 295, 246; «Опавшие листья». Короб второй и последний. Петроград, 1915, стр. 325).

«Да, я любил красивые вещи. И красивую жизнь — красивых людей.

И вот теперь в пыльной шляпе, новом пальто и с продырявленным портсигаром я еду по Бассейной, столь глубоко равнодушный и к себе, и к окружающему. «Да, я вышел весь. Выдохся, как выдыхается табак, как выдыхаются духи. Были духи, а через тридцать лет при открытом горлышке остается просто дрянная, не чистая, отнюдь не душистая вода. Пить ее нельзя, душиться ею нельзя. Можно только выплеснуть. И меня нужно выплеснуть».

И я почти плакал. Так проходит жизнь. **Куда** проходит? Нет, в самом деле, **куда** проходит жизнь. Водопад падает в море, железная дорога доходит до станции, а человек? Неужели человек без станции, без конца и цели?!.. Неужели жизнь похожа на железную дорогу, которая на достаточном протяжении прерывается среди пустого поля, просто потому, — что у строителя не хватило ни шпал, ни рельсов, чтобы вести ее далее? **Неорганично?** Смерть без бессмертия или загробной жизни превращает жизнь нашу в механическое явление. Бессмысленно. Невозможно». («Мимолетное». — «Северные цветы». Третий альманах. М. 1903, стр. 151-152).

«Каков же итог жизни? Ужасно мало смысла: Жил, когда-то радовался: вот главное. Что вышло? Ничего особенного. И особенно как-то ненужно, чтобы чтонибудь «вышло». Безвестность — почти самое желанное». («Уединенное», С.-Петербург, 1912, стр. 246).

Для нас чрезвычайно важно все это услышать.

Изумительна неожиданность вывода, каким заключалась жизнь. Как? Писатель, мыслитель, проповедник огромных идей приходит к концу трудового дня и, оглядываясь назад, заключает: ужасно мало смысла. Но эта пламенность убеждений, но эта страстность мирового учителя, но необычайность открытий, которые должны потрясти умы и повернуть историю на новый путь — разве все это

не грандиозно? Ничего особенного. (Срвн. Природа и история, III). Если что ценится из пережитого, то нечто неизмеримо менее важное и ничтожное: хороший, даже мало-мальски порядочный поступок, добрая встреча, ласковое отношение. Это единственный «добрый гость» в душе. «Надо было хорошо жить» — вот и вся истина, добытая после стольких исканий. Очевидно, человек попал в другой мир, где теряют силу все наши оценки и где является мерка нам неизвестная.

«Ну, что же, придет и вам старость, и также будете одиноки. Неинтересны и одиноки. И издадите стон, и никто не услышит. И постучите клюкой в чужую дверь, и дверь вам не откроется». («Опавшие листья», С.-Петербург, 1913, стр. 389).

Старость пришла. Подползает смерть.

«Теперь все кончилось». «Подгребаю угольки», как в истопившейся печке. Скоро закрывать трубу». («Опавшие листья. Короб второй и последний». Петроград, 1915, стр. 321).

Соответственно положению изменились и мысли. Несмотря на многообразие кипучих тем, кажется, что «только одна мысль» стоит в голове: о смерти.

Что значит, когда «он умрет»? Освободится квартира и хозяин сдаст ее новому жильцу. Библиографы будут разбирать его книги. А он сам? Сам — ничего. Бюро получит за похороны и эти деньги войдут в «итог». Но там уже все сольется с другими похоронами; ни имени, ни воздыханий. Какие ужасы! («Опавшие листья», С.-Петербург, 1915, стр. 3).

«Умер Суворин: но кругом его — дела его, дух его, все его. Так же шумит типография и шумит газета, и вот вот кажется «сходить бы с корректурой на верх» (в кабинет, «к самому»).

А нет его. «Нет», — и как будто есть. Это между «нет» и «есть» колебание — какое-то страшное. Что-то страшное тут.

Даже еще увеличивает ужас смерти и отвратительное в ней. «Человек как будто с нами»: это еще гораздо ужаснее, чем «его более нет». В «его более нет» — грусть, тоска, слезы; тут — работа продолжается, и это отъемлет у смерти ее грусть, ее тоску, ее смысл и все».

«Человек как будто не умирал»: и это до того страшно и чудовищно для того, кто ведь действительно умер и ему только то одно и важно, что его более нет и он перешел в какую-то новую действительность, в которой «газет уж во всяком случае нет».

И оставлен нами, суетящимися, «совсем один» в этой страш-

ной новой действительности». («Опавшие листья». С.-Петербург, 1913, стр. 419).

«Смерть «бабушки» изменила ли что-нибудь в моих соотношениях? Нет. Было жалко. Было больно. Было грустно за нее. Но я и «со мною» — ничего не переменялось. Тут пожалуй еще больше грусти: как смело «со мною» не перемениться, когда умерла она? Значит, она мне **не нужна**? Ужасное подозрение. Значит вещи, лица и имеют соотношение, пока живут, но нет соотношения в них, **так сказать взятых от подошвы до вершины**, метафизической подошвы и метафизической вершины? Это **одиночество вещей** еще ужаснее.

Итак мы с мамой умрем и дети, погоревав, останутся жить. В мире ничего не переменится: ужасная перемена **настанет только для нас**. «Конец», «кончено». Это «кончено» не относительно подробностей, но **целого, всего — ужасно**.

Я **кончен**. Зачем же я жил?!» («Опавшие листья». С.-Петербург, 1913, стр. 9). «Какой это ужас, что человек (вечный филолог) нашел слово для этого — «смерть». Разве **это** возможно какнибудь назвать? Разве **оно** имеет имя? Имя — уже определение, уже «что-то знаем». Но ведь мы же об этом **ничего не знаем**. И, произнося в разговорах «смерть», мы как бы танцуем в бламанже для ужина или спрашиваем: «сколько часов в миске супа. Цинизм. Бессмыслица». («Опавшие листья». С.-Петербург, 1913, стр. 88).

«Почему я так не могу перенести смерти? Перенести **не вечности радостей** земных. Цари умирали. Умер Александр III. Почему же я не могу перенести?

Не знаю. Но не могу перенести. «Я умру» — это вовсе не то, что «он умрет». С «я умру» сливается (однокачественно) только ...умрет; даже чудовищнее: п. ч. я грешный.

Да, вот в чем дело: для всего мира я тоже — «он умрет», и тоже — «ничего».

Каждый человек только для себя «я». Для всех он — «он». Вот великое **solo**. Как же при этом не зареветь с отчаянием». («Опавшие листья. Короб второй и последний». Петроград, 1915, стр. 177 - 178).

После всего того, что Розанов писал о браке, снова возвратиться к тому же самоощущению и к тем же мыслям из каких он вышел — и неожиданно и страшно. Итак метафизическое чудо брака не выдержало реакции на смерть, — по крайней мере в личном ответе самого Розанова. «Одиночество всех вещей» попреж-

нему остается последним и непреодолимым фактом. Таинство «двое в плоть едину» не проникло в глубочайший состав человека и существенно не изменило его. «Богословие костей и жил» оказалось так же бессильно, как и любая из морализирующих доктрин... «Несовокупляющийся человек» все так же и гол и сир, с глазу на глаз со своим собственным уничтожением.

И тогда сразу и далеко отодвинулись прежние темы о поле, о семье, о вечной жизни, здесь, на земле. В течение двадцати лет, пока он жил в непрерывной поэзии, об этом хотелось писать, душа расправлялась в крыльях и думки летели как птицы. Но пробил час и пошатнулись устои прошлого счастья и тогда перестали манить казавшиеся бессмертными идеи.

Весь ум теперь сосредоточился на одной черной точке.

«Могила... Знаете ли вы, что смысл ее победить целую цивилизацию...

То-есть вот равнина... поле... ничего нет, никого нет... И этот горбик земли, под которым зарыт человек. И эти два слова: «зарыт человек», «человек умер», своим потрясающим смыслом, своим великим смыслом, стонающим... преодолевают всю планету, и важнее «Иловайского с Атиллами».

Те все топтались... Но «человек умер», и мы даже не знаем, кто: — это до того ужасно, слезно, отчаянно... что вся цивилизация в уме точно перевертывается, и мы не хотим «Атиллы и Иловайского», а только сесть на горбике (†) и выть на нем униженно, собакою...

О, вот где гордость проходит.

Проклятое свойство.

Не даром я всегда так ненавидел тебя.»

(«Уединенное», СПб, 1912, стр. 278).

И вот вместо былых упоительных картин лазурного царства вместо золотого сна о детях солнца, Розанов заказывает рисунок на обложку для «Уединенного». Пустынное поле, бесконечный горизонт. Вдали черный силуэт намогильного креста. Согнувшись и сторбившись на земле сидит человек закрыв лицо руками и не то размышляет, не то воет. «Уединенное» — это философия умирающей собаки, но не молчаливой и покорной, как обычно животные, но собаки мыслящей, леденеющей в безысходном отчаянии.

Да. Смерть — это тоже религия. Другая религия.

Никогда не приходило на ум.

Вот арктический полюс. Пелена снега. И ничего нет. Такова смерть.

Смерть — конец. Параллельные линии сошлись. Ну, уткнулись друг в друга, и ничего дальше. Ни «самых законов геометрии».

Да «смерть» одолевает даже математику. «Дважды два — ноль».

(смотря на небо в саду)

Мне 56 лет: и помноженные на ежегодный труд — дают ноль.

Нет, больше: помноженные на любовь, на надежду — дают ноль.

Кому этот ноль нужен? Неужели Богу? Но тогда кому же? Зачем?

Или неужели сказать, что смерть сильнее самого Бога. Но ведь тогда не выйдет ли: она сама — Бог? на Божьем месте? Ужасные вопросы.

Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь».

(«Опавшие листья». С.-Петербург, 1913, стр. 7—8).

Весь круг мирозерцания изменился; прежний угол зрения повернулся на сто восемьдесят градусов. Удивляет, представляется диким, даже приводит в негодование, как можно было забыть о существовании смерти. Не странно ли прожить жизнь так, как бы ее вовсе не было. Самое обыкновенное, самое постоянное, — а между тем он относился к ней так, как будто никто и ничто не должно было умирать.

Конечно, он ее видел, но значит не смотрел на умирающих и значит их не любил. Вот дурной и страшный в нем человек, которому теперь он так враждебен. («Опавшие листья», С.-Петербург, 1913, стр. 184).

— Вдруг становится понятной истина, что настоящей серьезности человек достигает только, когда умирает; и что вся жизнь

— одно легкомыслие. («Опавшие листья», С.-Петербург, 1913, стр. 250).

«Только оканчивая жизнь видишь, что вся твоя жизнь была поучением, в котором ты был невнимательным учеником.

Так я стою перед своим невыученным уроком. Учитель вышел. «Собирай книги и уходи». И рад был бы, чтобы ктонибудь «наказал», «оставил без обеда». Но никто не накажет. Ты — вообще никому не нужен. Завтра будет «урок». Но для другого. И другие будут заниматься. Тобой никогда более не займутся». («Опавшие листья». С.-Петербург, 1913, стр. 400).

«Как-то везут гроб с похоронными и толпа шагает через «мокрое» и цветочки, упавшие с колесницы: спешат, трясутся. И я, объезжая на извозчике и тоже трясясь, думал: так-то повезут Вас. Вас-ча; живо представилось мне мое глуповатое лицо, уже тогда бледное (теперь всегда красное) и измученные губы, и бороjenка с волосенками, такие жалкие, и что публика тоже будет ужасно «обходить лужи», и ругаться обмочившись, а другой будет ужасно тосковать, что нельзя закурить, и вот из гроба ужасно ему сочувствую, что «нельзя закурить», и не будь бы отпет и вообще такой официальный момент, когда я «обязан лежать», то подsunул бы ему потихоньку папироску.

Знаю по собственному опыту, что именно на похоронах хочется до окаjнства курить...

И вот, везут-везут, долго везут: — «Ну, прощай, Вас. Вас., плохо, брат, в земле; и плохо ты, брат, жил: легче бы лежать в земле, если бы получше жил. С неправдой-то»...

Боже мой: как с неправдой умереть.

А я с неправдой.

(«Уединенное». С.-Петербург, 1912, стр. 280—281).

«Да, может быть мы всю жизнь живем, чтобы заслужить могилу. Но узнали об этом только подходя к ней: раньше и на ум не приходило». («Уединенное», С.-Петербург, 1912, стр. 282).

«Кто с чистою душою сходит в землю? О, как нужно нам очищение». («Уединенное», С.-Петербург, 1912, стр. 214).

Розанов вступил в свой метафизический возраст. Средний возраст человека лет от 24-х до 45 — это физический возраст. Тут все понятно, рационально. Идет работа. Идет служба. День за днем — оглянуться некогда. Механика. Во время которой не вспоминают

и не предчувствуют. Это самый неинтересный период. Другое дело — метафизический возраст, близкий к началу или концу земного отрезка существования, близкий к ранней или поздней бесконечности: возраст детей и стариков. Этот полон интереса и значительности. Тут чувствуется «айд» и «Небо». Чувствуются «мойры». («Опавшие листья. Короб второй и последний». С.-Петербург, 1915, стр. 397-398). Близость в смерти как-то совпадает в трансцендентном значении и влиянии на человеческую психику с близостью еще не отодвинувшегося вдаль рождения». («Около церковных стен», стр. 5).

И отрываясь все более от окружающих живых, еще слишком захваченных «механикой», Розанов чувствует себя ближе к покойникам. С ними у него образуется таинственная связь. Отчего она так жива и дорога? «Что-то веет оттуда»... Откуда? Что веет? Руками не умеешь схватить, а сердце чувствует. И страшно и радостно. Но вот еще что: после смерти все «облагораживается» и «покойник» действительно как-то «благороднее живых». Да уж не суть ли они немножко «боги»? Светлые души их блуждают там: и они правда, как небожители, «отчерневшись здесь». («Литературные изгнанники», стр. 343).

Так перемежаясь с приступами отчаяния, в Розанова все более и более входит новое, дотоле ему непонятное и неприемлемое жизнеощущение. Тот «феруэр», который раньше связывался со всем половым, теперь исходит от дорогих умерших.

Таинство смертного часа становится ближе, чем таинство брачных соитий. Тело скончавшегося перестало быть «отцом отцов нечистоты», но мошами, святыней, как и для всякого православного верования... И как бы переходя пределы земной реальности, он все более уроднялся мистически иному бытию, в котором как-то таяло индивидуальное одиночество.

В соответствии с ощущением изменился и тон.

Выражение острой боли смягчилось; сходила более глубокая примиренность. Грусть не исчезла, но сквозь черноту пробивался тихий незаходящий свет.

Пройдет все, пройдем мы, пройдут дела наши. Любовь? Нет. Хочется думать. Зачем я так упираюсь тоже «пройти»?

И будет земляца, по которой будут проходить люди. Боже: вся земля — великая могила («Опавшие листья», С.-Петербург, 1913, стр. 344).

«Тишина лечит душу».

Но если тишина относится к «концу всего», как сон к смерти, то неужели смерть окончательное излечение?

«Что мы знаем о смерти? О если бы что-нибудь знали!»

Смерть это тоже религия. Другая религия.

«В конце всех вещей — Бог. И в начале вещей Бог. Он все. Корень всего». («Опавшие листья. Короб второй и последний». Петроград, 1915, стр. 342).

II.

Но ни старость, ни приближение смерти не были главной болью, которая так тяжело надавила сердце Розанова. Долгой и неизлечимой болезнью заболела жена, и тьма наглухо обняла его.

Устало сердце, устало потому, что почти с детства вкладывалось в людей, в непрерывную, а то и непосильную работу, уход и заботы. И перерождались сосуды, отнялась рука, таяло вещество мозга, стачивалась ткань сердца. Оно анатомически разрушительно отделялось от мира. Душа была еще жива, а тело умерло.

Раза два-три полуоткрыв на минуту занавески своего жилища Розанов показывает нам разразившееся несчастье.

«Когда рука уже висела — в гневе на неподвижность (весна 1912 года), она, остановясь среди комнаты — несколько раз взмахнула обеими руками: правая делала полный оборот, а левая поднималась только на небольшую дугу, и со слезами стала выкрикивать, как бы топя на больную руку:

Работай! Работай! Работай! Работай!

У ней было все лицо в слезах. Я замер. И в восторге и в жалости». («Опавшие листья. Короб второй и последний». Петроград, 1915, стр. 12).

«Если Бехтерев увидел нашу мамочку лежащую на кушетке, зажав левую больную руку в правой... Но не увидит. Увидит муж». («Опавшие листья. Короб второй и последний». Петроград, 1915, стр. 286).

«Неужели поверить, что ее постоянная молитва имела этот смысл: Отчего они меня не лечат? — Вразуми их! — Укажи им.

В Мюнхене, в Наугейме (в Луге и на Сиверской уже не было)... всегда это:

Пишу статью. Весь одушевлен. Строки черным бисером по белому растут и растут... Оглядываюсь... и раз... и два... и три. Она подымет глаза от акафиста и кивнет мне. Я улыбнусь ей:

Что милая?!

И она опустит глаза на разорванные листочки «Всех скорбящих радости» — и читает.

У меня недоумение, грусть. «Отчего она все читает один акафист»? И смутная тревога.

Кончит. И встанет. И начнет делать.

На вопрос (об акафисте):

Меня успокаивает.»

(«Опавшие листья. Короб второй и последний».

Петроград, 1915, стр. 256).

И вдруг сразу все разрешилось. С «другом» произошел удар, и весь свет затмился. Последующие переживания так семейны и интимны, что никакие чужие слова не были бы уместны, и только голос самого страдающего человека может с достаточной ясностью изобразить душевную муку и сгустившийся мрак.

«26-го августа 1910 г. я сразу состарелся. Двадцать лет стоял «в полдне». И сразу 9 часов вечера. Теперь ничего не нужно, ничего не хочется. Только могила на уме.» («Уединенное», С.-Петербург, 1912, стр. 273).

«Все погибло, все погибло, все погибло.

Погибла жизнь. Погиб самый смысл ее.

Не усмотрел.»

(«Опавшие листья. Короб второй и последний».

Петроград, 1915, стр. 316).

«Двадцать лет как «журчащий свежий ручеек» я бежал около гроба... И еще раздражался: отчего вокруг меня не весело, не цветут цветы. И так поздно узнал все.» («Уединенное», С.-Петербург, 1912, стр. 257).

«Жизнь требует верного глаза и твердой руки. Жизнь — не слезы, не вздохи, а борьба; и страшная борьба. Слезы — «дома», «внутри». Снаружи — железо. И только тот дом крепок, который окружен железом.

Во мне было мало железа: и вот отчего мамочке было так трудно. Она везла воз и задыхалась; и защищала его. И боролась за меня. И возникший упал. А я только оплакиваю его.» («Опавшие листья». С.-Петербург, 1913, стр. 324).

«Не спас я мамочку от страшной болезни. А мог бы. Побольше бы внимания к ней, чем к нумизматике, к деньгам, к литературе.

«Вот одна и вся моя боль. Не «Христос», нисколько. «Христос» и без меня обойдется. У него — много. А у мамочки — только я. Я был поставлен на страже ее. И не устерег. Вот моя боль.» («Опавшие листья». С.-Петербург, 1913, стр. 323).

«Да, я приобрел «знаменитость»... О, как хотел бы я изодрать зубами, исцарапать ногтями эту знаменитость, всадить в нее свой гнилой зуб, последний зуб.

«И все поздно... О, как хотел бы я вторично жить, с единственной целью — ничего не писать. Эти строки — они отняли у меня все; они отняли меня у «друга», ради которого я и должен был жить, хотел жить, хочу жить. А «талант» все толкал писать и писать.» («Уединенное». С.-Петербург, 1912, стр. 258).

«Талант у писателя невольно съедает жизнь его. Съедает счастье, съедает все. Талант — рак. Какой-то опьяняющий рак.» («Опавшие листья». С.-Петербург, 1913, стр. 331).

«Почему я ее всегда чувствовал, знал бедной. Как и у ней, у меня была безотчетная тревога, теперь объяснившаяся (давняя болезнь). Казалось, — все обеспечено, все дети отданы в лучшие школы, мамочка кажется бы «ничего»: а мысль «бедная! бедная!» сосала душу. К этой своей всегдашней тоске тревоге я и отношу Некрасовское «еду ли ночью по улице темной», так как я часто езжу в редакцию (править корректуры). И всегда — тоска, точно завтра начнется светопреставление.» («Опавшие листья. Короб второй и последний». Петроград, 1915, стр. 320).

«Так моя жизнь, как я вижу, погибает к ужасному страданию совести. Я всегда был относительно ее беззаботен, думая, что «ее нет», что «живу как хочу». Просто — ничего о ней не думал. Тогда она была приставлена (если есть «путь», а я вижу, что он есть) в виде «друга», на которого я оглядывался и им любовался, но по нему не поступал.

И вот эта мука: друг гибнет на моих глазах, и в сущности, по моей вине. Мне дано видеть каждый час ее страдания, и этих часов уже три года. И когда «совесть» отойдет от меня: оставшись без «совести», я увижу всю пучину черноты, в которой жил и в которую собственно шел.

Это ужасно: и если, например, остаться с этой тоской не на 3 года, а на весь «загробный мир», на всю вечную жизнь, то разве это не ад, краешек которого я ощущаю. Она же, «друг» мой, всю себя отдавая другим — перейдет в вечную радость.» («Опавшие листья. Короб второй и последний». Петроград, 1915, стр. 359-360).

«Томится душа. Томится страшным томлением. Утро мое без света. Ночь моя без сна.

«На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком». («Опавшие листья. Короб второй и последний». Петроград, 1915, стр. 320).

«Валят хлопья снега на моего друга, заваливают до плеч, головы... И замерзает он и гибнет. А я стою возле и ничего не могу сделать». («Опавшие листья», С.-Петербург, 1913, стр. 521).

«Все глуше голоса земли... И — не надо.

Только один слабый надтреснутый голосок всегда будет смешиваться с моими слезами. И когда и он умолкнет для меня, я хочу быть слепым и глухим в себе самом, an und für sich».

(«Опавшие листья», С.-Петербург, 1913, стр. 523).

III.

Так рождается философия трагедии. С человека не то сдернули одеяло, не то содрали кожу и выбросили его в тьму и холод. Первые испытания, кажется, превышают всякие силы, — но затем начинается нечто удивительное и чудесное, что может происходить только с человеком. В судорогах и корчах мученик судьбы не только осваивается с положением, не только принимает боль, но открывает в ней смысл, более того — начинает ее славословить. Переносит то, чего нельзя перенести; под чем кости хрустят и душа ломится. Переносит, ибо остается жить. А оставшись жить, узнает, что есть жизнь и в страдании — и даже так, что в страдании то и есть истинная жизнь. Только железо может соскрести сорную траву.

Как объясняется роковое, черное, всемирное: «нужно несчастье»?

Оно объясняется из какого-то врожденно-сущего — в «закваске» мира — неблагородства. Страдаем — и лучше. Счастливы — и хуже.

О, какой это рок». («Опавшие листья. Короб второй и последний». Петроград, 1915, стр. 340).

«Тяжелым утюгом гладит человека Бог. И расправляет душевные морщины. Вот откуда говорят: бойся Бога и не греши». («Опавшие листья», С.-Петербург, 1913, стр. 105).

«Только горе открывает нам великое и святое.

До горя — прекрасное, доброе, даже большое. Но никогда именно великого, именно святого». («Опавшие листья». С.-Петербург, 1913, стр. 321. Срвн. «Темный Лик». С.-Петербург, 1911, стр. 266).

Розанову, очевидно, предопределено удивлять читателя неожиданностью. С каким упорством и горячностью доказывал он, что только счастье и радость — истинный путь к Богу, что уменьшение боли ближе приводит к идеальному состоянию человека, и что Голгофа это ошибка болезненно-настроенного сознания. И вдруг этот резкий поворот всего мышления. Страдание не только делает человека идеальнее и величественнее, страдание является чистейшим источником Богопознания. «Кто не знал горя, не знает и религии». («Опавшие листья. Короб второй и последний». Петроград, 1915, стр. 48). Этот афоризм, который раньше вызвал бы в нем лишь отвращение и ненависть, как извращенное уклонение в культ Молоха, теперь освещает ему путь праведника и оправдывает страдание в Богочеловеческом процессе. Итак, кроме религии детей Солнца, кроме религии преизбыточной жизни и страстно-любовного вдохновения, есть еще другая религия, в которой родником и возбудителем есть боль. И впадая в растроганный лиризм воздыханий и скорби, Розанов слагает певучие полу-стихи.

Тихие темные ночи...

Испуг преступления...

Тоска одиночества...

Слезы отчаяния, страха и пота труда.

Вот ты, религия...

Помощь согбенному...

Помощь усталому...

Вера больного...

Вот твои корни, религия...

Вечные чудные корни...

Так мало-помалу от религии первобытно-языческой, от религии Богоотчества, от поклонения Богу-Создателю и Жизнедавцу, Розанов переходит к религии Бога Страдальца, Помощника и Утешителя, который стал теперь ближе, как ближе стала пронзающая сердце мука.

«Я нуждаюсь только в утешении и мне нужен только Христос. Язычество и юдаизм и на ум не приходят». Этим и подобными изречениями наметился поворот Розанова к христианству.

«К Богу меня нечего было «приводить»: со 2-го (или 1-го?) курса университета не то чтобы я чувствовал Его, но **чувство присутствия около себя** Его — никогда меня не оставляло, не прерывалось хоть бы на час. Я был «полон Богом» — и это всегда.

Но к Христу нужно было «привести». Так неужели вся жизнь моя и была, — с 1889 года, — «приведением» сюда? С 1889-го и вот до этого 1913 г., и даже определеннее, до 7 ноября, когда впервые «мелькнуло».

Ведь до этого 7 ноября я был совершенно «вне Его». До такой степени, как может быть ни у кого. Но сказано: «и оружие пройдет тебе сердце»... Так вот что «приводит». («Опавшие листья Короб второй и последний», Петроград, 1915, стр. 319).

«Боль мира победила радость мира — вот христианство». («Опавшие листья», С.-Петербург, 1913, стр. 342). «В грусти человек — естественный христианин. В счастье человек — естественный язычник.

Две эти категории кажется извечны и первоначальны. Они не принесены «к нам», они — «из нас». Они — мы сами в разных состояниях.

Левая рука выздоравливает и «просит древних богов». Правая — заболевает и ищет Христа.

Перед древними нам заплакать? «Позитивные боги», с шутками и вымыслами. Но вдруг «спина болит»: тут уж не до вымыслов, а «помоги! облегчи!». Вот Юпитеру никак не скажешь: «облегчи!». И когда по человечеству прошла великая тоска: — «Облегчи», — явился Христос.

В «облегчи! избави! спаси!» — в муке человечества есть что-то более важное, черное, глубокое, может быть, и страшное, и зловещее, но, несомненно, и более глубокое, чем во всех радостях. Как ни велика загадка рождения, и вся сладость его, восторг: но когда я увидел бы человека в раке, и с другой стороны — «счастливую мать», кормящую ребенка, со всеми ее надеждами — я кинулся бы к больному. Нет, иначе: старец в раке, а хуже — старуха в раке, а по другую сторону — рождающая девица. И вдруг бы выбор: ей — не родить, а той — выздороветь, или этой — родить зато уж той — умереть: и всемирное человеческое чувство воскликнет: лучше погодить родить, лишь бы выздоровела она.

Вот победа христианства. Это победа именно над позитивизмом. Весь античный мир, при всей прелести, был все-таки пози-

тивен. Но болезнь прорвала позитивизм, испорошила его: «Хочу чуда, Боже, дай чуда!». Этот прорыв и есть Христос.

Он плакал.

И только слезам Он открыт. Кто никогда не плачет — никогда не увидит Христа. А кто плачет — увидит Его непременно.

Христос — это слезы человечества, развернувшиеся в поразительный рассказ, поразительное событие.

А кто разгадал тайну слез? Одни при всяческих несчастиях не плачут. Другие плачут и при не очень больших. Женская душа вся на слезах стоит. Женская душа — другая, чем мужская («мужланы»). Что же это такое, мир слез? Женский — отчасти, и — страдания, тоже отчасти. Да, это категория вечная. И христианство — вечно.

Христианство нежнее, тоньше, углубленнее язычества. Все «Авраамы» плодящие не стоят плачущей женщины. Вот граница чередующихся в рождениях Рахилей и Лий. Есть великолепие душевное, которое заливаает все, будущее, «рождение», позитивное стояние мира. Есть то «прекрасное» души, перед чем мы останавливаемся и говорим: «не надо больше, не надо лучше, ибо лучшее мы имеем и больше его не будет». Это конец и точка, самое рождение прекращается.

Я знал такие экстазы восхищения: как я мог забыть их.

Я был очень счастлив (20 лет): и невольно впал в язычество. Присуще счастливому быть язычником, как солнцу — светить, растению — быть зеленым, как ребенку быть глупеньким, милым и ограниченным.

Но он вырастет. И я вырос.

Могу ли я вернуться к язычеству? Если бы совсем выздороветь, и навсегда — здоровым: мог бы. Не в этом ли родник, что мы умираем и бодем: т. е. не потому ли и для того ли, чтобы всем открылся Христос.

Чтобы человек не остался без Христа.

Ужасное сплетение понятий. Как мир запутан. Какой это неразглядимый колодезь».

(«Опавшие листья. Короб второй и последний», Петроград, 1915, стр. 39-42. Срвн. «Люди лунного света», стр. 3, 23-25).

Розанов постиг Христианство и именно в той самой концепции, от которой ранее отшатнулся. Как далека была для него теперь

попытка обновления, как чуждо стало его душе то «розовое христианство», которое когда-то его так увлекло. Религия Вифлеема и полевых лилий умалилась и отошла, зато выросла во весь трагический рост религия Голгофы и Креста.

«Смысл Христа не заключается ли в Гефсимании и кресте? То-есть что Он — Собою дал образ человеческого страдания, как бы сказав или указав или промолчав:

— Чадца Мои, — избавить я вас не могу (все-таки не могу! о, как это ужасно): но вот, взглядывая на Меня, вспоминая Меня здесь, вы несколько будете утешаться, облегчаться, вам будет легче — что и Я страдал.

Если так: и он пришел утешить в страдании, которого обойти невозможно, победить невозможно, и прежде всего в этом ужасном страдании смерти и ее приближениях...

Тогда все объясняется. Тогда Осанна...

Но так ли это? Не знаю.

Но во всяком случае понятно тогда умолчание о браке, о плоти, «не нужно обрезания».

Когда тяжелый больной в комнате, скажем ли: «обнажи уд и отодвинь («обрежь») крайнюю плоть».

В голову не придет. Вкус отвращается.

И все «ветхозаветное прошло» и «настал Новый Завет».

Но так ли это? Не знаю. Впервые забрежжило в уме.

(7 ноября 1912).

Если Он — Утешитель: то как хочу я утешенья; и тогда Он — Бог мой.

Неужели?

Какая-то радость. Но еще не смею. Неужели мне не бояться того, чего я с таким смертельным ужасом боюсь; неужели думать — «встретимся! воскреснем! и вот Он — Бог наш! И все — объяснится».

Угрюмая душа моя впервые становится на эту точку зрения. О, как она угрюма была, моя душа — еще с Костромы: — ведь я ни в воскресенье, ни в душу, ни особенно в Него — не верил.

— Ужасно странно.

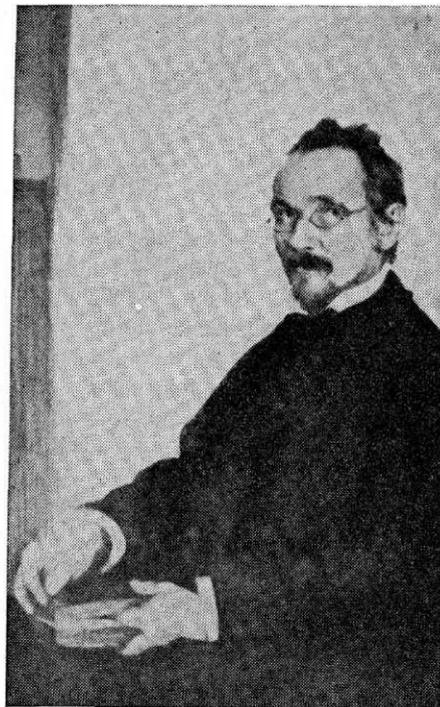
То-есть ужасное было, а странное наступает.

Неужели сказать: умрем и ничего.

Неужели Ты велишь не бояться смерти?

Господи: неужели это Ты. Приходишь в ночи, когда душа так ужасно скорбела».

(«Опавшие листья», С.-Петербург, 1913, стр. 447-449).



В. В. Розанов
1856—1919

Розанов не только переродился нравственно, не только уверовал, но и отрекся. Отрекся от своего отступничества, от богохуления, от того мирового «открытия», какое он сделал о Христе.

«Запутался мой ум, совершенно запутался... Всю жизнь посвятить на разрушение того, что одно в мире люблю: была ли у кого печальнее судьба». («Уединенное», С.-Петербург, 1912, стр. 213).

Таков итог многолетнего христорборчества.

Наитие прозорливости, разоблачение врага и вдохновенная борьба против духа небытия признается все тою же «пустой идеологией интеллигента» и жалким сочинительством.

«Как пуст мой «бунт против христианства»: мне надо было хорошо жить и были даны для этого (20 лет) замечательные условия. Но я все испортил своими «сочинениями». Жалкий «сочинитель», никому, в сущности, не нужный, и поделом, что не нужный». («Уединенное», С.-Петербург, 1912, стр. 284).

IV.

В изумительной брошюре своей «Русская Церковь» Розанов рассказывает про обыкновенную судьбу русского человека. В молодости он гордится неверием, в церковь не ходит, нередко кошунствует. Но вот этот скептик или атеист переходит за пятьдесят лет. Приходят болезни, наступили семейные невзгоды; богатства — нет, слава — не нужна, дети — похолодели. Человек чувствует себя одиноким, ненужным, лишним. Вдруг, зайдя случайно в храм — он находит здесь все родным себе, в высшей степени понятным, страшно нужным. Храм точно и ожидал этих его пятидесяти лет, и еще лучше шестидесяти; ожидал его болезней, сгорбленности, бедности, покинутости родными и друзьями; храм принимает его как друга, как родного, принимает с бесконечной нежностью, заботою, всепрощением за прошлую неправильную жизнь. Тысяча интимных глубочайших метафизических нитей оказываются общими у этого старца всеми покинутого, и у этого храма, который так чтит родина. Слабый старик, больной, «лишний», вдруг нашел здесь себе отечество, почти — службу, почти ранг, положение и даже награды. Всякий человек хочет себе определенного положения, теряется без положения; здесь, в православном русском храме такие с всемирной точки зрения слабости, как дряхлость, немощь и убожество, как нищета и социальное ничтожество — оцениваются как положительная добродетель, как заслуга перед Богом, как небесное на человеке сияние. Человек, вот уже к 60-ти годам подходящий, радостно вступает на эту последнюю, незыблемую исторически признанную лестницу — и спешит по ней. Он забывает друзей, родных для храма. Театр, зрелища, все веселое — отвратительно для него, «царство сатаны и дьявола», «духовный анти-

христ». Он нашел Христа — по ту сторону Его, Христова, воскресения». («Русская церковь», стр. 6-7).

Так писал Розанов когда жил еще в счастье и еще не предвидел, что через год-другой будет сам таким старичком, что скоро сам постучится в двери церкви. Но время пришло, и слышались другие песни не гнева и возмущения, а восхищения, преданности, любви. Розанов понял то, что не давалось ему раньше и с неизведанной дотоле растроганностью он нежился в новом чувстве.

«У меня было религиозное высокомерие. Я «оценивал» церковь как постороннее себе и не чувствовал нужды ее себе, потому что был «с Богом». Помню, в Брянске, я с высокомерием говаривал: «он церковник», или еще: «да, он церковник — но это вовсе не то, что религиозный человек»... «Я не церковник, но я религиозный человек»...

Но пришло время «приложиться к отцам». Уйти «в мать землю». И чувство церкви пробудилось. Церковь — это «все мы»; церковь — «я со всеми». И «мы все с Богом».

В отличие от высокомерной «религиозности» — «церковное» чувство смиренно, просто, народно, общечеловечно». (Опавшие листья. Короб второй и последний». Петроград, 1915, стр. 322).

«Необыкновенная сила церкви зависит (между прочим) от того, что прибегают к ней люди в самые лучшие моменты своей души и жизни: страдальческие, горестные, страшные, патетические. «Ктонибудь умер», «сам умираю». Тут человек совсем другой, чем всю жизнь. И вот этот «совсем другой» и «лучший» несет сюда свои крики, свои стоны, — слезы, мольбы. Как же этому месту, «куда все снесено», не сделаться было наилучшим и наимогущественнейшим. Она захватила «острия всех сердец»: и нет иного места с таким же могуществом, как здесь». («Опавшие листья», С.-Петербург, 1913, стр. 367).

«Как не целовать руку у церкви, если она и безграмотному дала способ молитвы: зажгла лампадку старуха темная, старая и сказала: «Господи, помилуй» (слыхала в церкви, да и «сама собой» скажет) и положила поклон в землю. И «помолилась» и утешилась. Легче стало на душе у одинокой, старой.

Кто это придумает? Пифагор не «откроет», Ньютон не «вычислит».

Церковь сделала. Поняла. Сумела. Церковь учила этому всех. Осанна Церкви, — осанна, как Христу — «благословенна Грядущая».

шая во имя Господне». («Опавшие листья. Короб второй и последний». Петроград, 1915, стр. 287; Срвн. 312, 53, 184).

«Церковь об умершем произнесла такие удивительные слова, каких мы не умеем произнести об умершем отце, сыне, жене, подруге. То-есть она всякого вообще умирающего, умершего человека почувствовала так близко, так «около души», как только мать может почувствовать свое умершее дитя». («Опавшие листья. Короб второй и последний», Петроград, 1915, стр. 178).

«Умер! Он умер! — воеет зверь-человек. Церковь подошла и тихо сказала:

Нет, он скончался.

И провела рукой по лицу зверя, и стал зверь человек.

Все человечество отступилось от церкви.

И нарекло ее дурным именем. И прокляло ее.

В ночи подошел к запертой двери старик и постучал клюкой. И дверь отворилась. И вот этот «старик в церкви» есть сияющая церковь, полная церковь.

А то «человечество» — ничто.

(«Опавшие листья. Короб второй и последний», Петроград, 1915, стр. 392).

«Даже если будет все это место полно червями и тлением — я останусь **здесь**.

С глупыми останусь. С плутами останусь. Почему?

Здесь говорят о бессмертии души. О Боге. О вечной Жизни. О Награде и Наказаниях.

Здесь — Алтарь. Во-истину — алтарь, один на земле. И куда же мы все пойдем отсюда»... («Опавшие листья. Короб второй и последний», Петроград, 1915, стр. 293; Срвн. стр. 254-256).

«Да что же и дорого то в России, как не старые церкви. Уж не канцелярии ли? или не редакции ли? А церковь старая-старая и дьячок «не очень», и священник тоже «не очень», все с грешком, слабенькие. **А тепло только тут**. Отчего же тут тепло, когда везде холодно? Хороним **тут** мамашу, братцев; похоронят меня, будут тут же жениться дети; все **тут**... Все **важное**. И вот люди надышали **тепла**». («Уединенное», С.-Петербург, 1912, стр. 248; Срвн. «Опавшие листья», С.-Петербург, 1913, стр. 110).

«Церковь **теплее** светской жизни en masse: сердечнее, душевнее, примиреннее, прощающее. И если там был огонь (инквизи-

ция), то все-таки это не плаха позитивистов: холодная и с **холодным железом**...

И я бросился (1911 г., конец) к Церкви: одно в мире **теплое, последнее теплое** на земле...

Вот моя биография и судьба. («Уединенное», С.-Петербург, 1912, стр. 267).

«Церковь есть единственно поэтическое, единственно глубокое на земле. Боже, какое безумие было, что лет 11 я делал все усилия, чтобы ее разрушить. И как хорошо, что не удалось. Да чем была бы земля без церкви? Вдруг обессмыслилась бы и похолодела.

Цирк Чинизелли, Малый театр, Художественный театр, «Речь», митинг и его оратор, «можно приволокнуться за актрисой», тот умер, этот родился и мы все «пьем чай»: и мог я думать, что этого «довольно». Прямо этого я не думал, но косвенно думал». («Уединенное», С.-Петербург, 1912, стр. 285).

«Да, может быть и неверен «план здания»: но уже оно берет нас от дождя, от грязи: и как **начать рубить его?**» («Уединенное», С.-Петербург, 1912, стр. 238).

«Будет больше научности, больше филологии, даже добропорядочности больше будет, но **позолоты времен** не будет. И не будет вдохновения. Ибо могучие деревья вырастают из старых почв». («Опавшие листья». С.-Петербург, 1913, стр. 300).

«Черви изгрызли все, и мрамор когда-то белый желт теперь, как вынутая из могилы кость. И тернии, и сор, и плевелы везде.

Что это, Парфенон?

Нет, это Церковь. Это наш старый запивающий батюшка. И оловянное блюдо с копеечками...

Прибить заплатку — уродливо, не поновлять — все рассыплется...

Ненавижу, люблю... всего надеюсь... все безнадежно...

Но здесь, други, только здесь живет бессмертие души».

(«Опавшие листья. Короб второй и последний», Петроград, 1915, стр. 390).

«Господи! Прости ей грех, прости ей грех, прости ей грех.

Потому что она наследница Твоего богатства, которое Ты оставил миру, чтобы не заблудился мир. И которого если не будет, мир заблудится. И которого не будет, если погибнет церковь. Не дай погибнуть ей. Поддержи ее. Поддержи ее и укрепи». («Опав-

шие листья. Короб второй и последний». Петроград, 1915, стр. 255; Срвн. стр. 391).

«Через 1900 лет после Христа, из проповедников слова Его (священники) все же на десять — один порядочный. Все же через 1900 лет попадают изумительные. Тогда как через 50 лет после Герцена, который был тщеславен, честолюбив и вообще с недостатками, нет ни одной такой же (как Герцен) т. е. довольно несовершенной фигуры.

Это — Революция, то — Церковь.

Как же не сказать, что она вечнее, устойчивее, а след., и внутренне-ценнее Революции. Что из двух врагов, стоящих друг против друга, — Церкви и Революции, — Церковь идеальнее и возвышеннее..

Что будет с Герценом через 1900 лет? — с Вольтером и Руссо, родителями Революции? Ужаснется тысячи девятисот годам самый пламенный последователь их и воскликнет:

— Еще бы какой вы срок взяли!!! — через 1900 лет может быть и Франции не будет, может быть и Европа превратится в то, чем была «Атлантида», и вообще на такой срок — нечего загадывать... «Все переменится» — и самое имя «революция» станет смешно, едва припоминаемо, и припоминаемо как «плытие Приама в Лациум» от царицы Дидоны (положим).

Между тем священник, поднимая Евангелие над народом, исто-во говорит возгласы, с чувством необыкновенной реальности, «как бы живое еще». А диакон громогласно речет: «Вонмем». Диакон речет с такой силой, что стекла в окнах дрожат: как Вольтер — в Фернее, а вовсе не как Вольтер в 1840-м году, когда его уже ели мыши. И приходит мысль о всей Революции, о «всех их», что они суть снесь мышей. Лет на 300 хватит, но не больше — пара, пыла, смысла...

Отчего же диакон так речет, а Вольтер так угас?

И при жизни Вольтера, в его живых устах, слово не было особенно ценным. Скажите сразу, не думав, что сказал Вольтер дорогого человеку на все дни жизни и истории его? Не придумаете, не бросится в ум. А Христос: «блаженны изгнанные правды

ради». Не просто «они хорошо делают», или «нужно любить правду», «нужно за правду и потерпеть», — а иначе:

«БЛАЖЕННЫ ИЗГНАННЫЕ ЗА ПРАВДУ, ИБО ИХ
ЕСТЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».

Как изваяно. И стоит 1900 лет. И простоят еще 1900 лет, и это скажет тот самый последователь Вольтера, который сказал:

— Еще бы вы какие сроки загадываете!..

Евангелие бессрочно. А все другое срочно. Вот в чем дело.

И орет дьякон. И я, пыльный писатель, с пылью и мелочью в душе и на душе, стоя в углу церкви и улыбаясь и утирая слезы, скажу и весело и грустно:

— Ори, батюшка, сколько утробушки хватит. И «без сумления» кушай, придя домой, устав, гречневую кашу и щи, и все что полагается, со своей матушкой-дьяконицей, и с детушками, и с внуками. Вы на прочном месте стоите и строите в жизни вечную правду».

(7 декабря 1912 г.).

(«Опавшие листья. Короб второй и последний», Петроград, 1915, стр. 400-403).

Розанов возвратился домой. Петербург его измучил и быть может развратил. И вот после годов блужданий, ложных увлечений, и крайностей всякого рода, — после боевого и вызывающего консерватизма, после близости и сотрудничества с декадентами, после безумной борьбы с церковностью и даже с христианством, он снова возвратился к старому провинциальному затишью. Но это затишье казалось было еще более полное и успокоенное, ибо оно наступило для переболевшего сердца, ибо в нем было и усмирение ума, и утешение муки и надежда для болящего, потерявшего все надежды.

Преосвященный Мануил Лемешевский*)

(окончание)

Уехал он в Серпухов, куда принял назначение епископом, в город, раздираемый жестоким церковным террором. Местами иосифляне достигли в своей крайности такой непримиримости, что воздвигли на последователей митр. Сергия настоящее гонение. Так было и в Серпухове. К моменту прибытия Владыки Мануила местные прихожане-иосифляне буквально камнями побили священника из приверженцев митр. Сергия и совершенно разогнали последних. Ожидался также в Серпухов иосифлянский епископ Максим**), и не мало надо было сделать Владыке Мануилу в пользу общего мира, чтобы этого новоприбывшего сделать едва ли не другом своим. К счастью, иосифлянское движение, переродившееся в фанатическую ненависть к несогласным, потеряло все в глазах искренно веривших в его правду и стало понемногу угасать.

Но это не означало и торжества митр. Сергия. Недовольство действиями последнего среди верующих все росло. Тяжело было. И Владыка Мануил нравственно устал. Через год он попросился за штат и с неохотой, но был отпущен митр. Сергием, очень ценившим его. (Отпускали его и из Серпухова с великим плачем. Одна из тамошних прихожанок описала его недолгое святительство, заканчивая свой очерк словами: «Ангел молитвы отлетел от нас, закатилось наше солнышко!» — Как и лужане). Он переехал в Москву, поселился на окраине в Марьиной роще у вдовы Гликерии Никитишны Рузаковой и ездил служить к Николе в Кадашах, небольшом, затерянном в Кадашевских переулках храме. Здесь в Москве, на свободе, занялся он собиранием сведений о разных почивших в наше время благочестивых людях, иноках и мирянах, что он начал еще в Соловках и продолжал в Серпухове. Своим духовным детям (а за ними в Москве дело не стало) задал он собирать этот материал отовсюду, послал и нам, ленинградцам, это

*) См. «Вестник» № 93-III-1969. Рукопись неизвестного автора, составленная около 1945 г. Примечания принадлежат Редакции.

**) Жижиленко, брат профессора Уголовного права Петроградского университета, врач-психиатр, принял постриг и рукоположение в епископа от «иосифлянского» епископа Дмитрия Гдовского в 1927 году. Расстрелян в июне 1931 г.



Епископ Мануил (Лемешевский)
1883—1968

задание. «Если, бродя по кладбищу, — писал он, — увидишь какие-нибудь интересные надписи на безвестной могилке, спиши себе, кто это был, когда родился и умер». Одну девушку, которой снились интересные сновидения о святых, о явлениях св. икон и пр., он просил записывать эти сны и очень рассердился, когда она, не успев передать ему, из страха обыска сожгла эти записи. Он составил целый вопросник для составления жизнеописаний праведников, все многочисленные материалы были у него под номерами; вообще, если он принимался за усидчивую работу, у него проявлялись статистические наклонности *).

*) Литературной деятельностью преосв. Мануил занимался до последних дней своей жизни. Будучи уже на покое, он подал в Совет Московской духовной академии новую работу «Русские православные иерархи периода 1893-1965 гг.» на соискание ученой степени магистра богословия.

Брат его Андрей к тому времени отбыл все свои сроки (после ссылки ему было дано «минус 6», но на краткое время) и вернулся в Ленинград, где поселился у замужней сестры, на Таврической улице. Квартира в Солдатском переулке уже не существовала. Несмотря на свои 40 лет он не был женат и не искал брака, любил читать духовное, посещать церковь — видимо, пример брата Виктора увлек его всецело, он был предан брату всей душой и стремился, чем мог, помогать ему в его работе. Между обоими братьями была теплая привязанность: общие испытания спаяли их! Андрея Викторовича все любили, кто его знал: тихий он был, серьезный, молчаливый; чувствовалась в нем глубокая сокровенная жизнь от всех нас тайная.

Владыка в Москве повел тот же образ жизни, как до своего архиерейства в Петрограде: ездил по больным, приобщал на дому, благодетельствовал духовным чадам своим, которые по немощи постоянно из-за него ссорились и мирились. Принимал и тайком приезжавших к нему ленинградцев, стремясь всячески обласкать их, устраивая им у себя прямо духовный праздник. (При всем том, в комнату, где он жил, он не допускал войти ни одной женщине). Узнав из переписки, что двоим из ленинградских его чадушек полюбилось одно дорогое изображение Распятия в магазине (а в то время, в 29-30 годах, еще были в Гостином такие магазины), поручил снести в этот магазин свою драгоценную панагию, под залог которой выкупить для них это распятие.

Одной девушке, страдавшей от долголетней безработицы, по имевшей пишущую машину, поручил он переписку за плату составляемой им работы, большого труда об Иисусовой молитве (крайне интересно теперь это Валаамское издание!). Обрадованная девушка писала ему, как благодетельно отразилась эта «случайная работа» (которую он оплачивал из своего кармана) на ее семье, назвав эту работу в письме: «это настоящие Врата радости, эта работа!» Чтобы увеличить ее удовольствие, Владыка дал всему этому труду, не имевшему еще названия, написанное ею имя: «Врата Радости».

Наконец, стосковавшись по своему Ленинграду, хоть и названному им как-то «холодной северной столицей Св. Петра», в конце 1932 г., горьким ноябрем, «чтобы в темноте не так заметно было», приехал он к нам, с трудом выхлопотав разрешение. Он уже не имел права служить у нас в храмах, как четыре года назад: он только стоял в алтаре во время службы, но народ проведаль как-то о его появлении, расспрашивал и выведывал, в каких хра-

мах он будет присутствовать, и опять устремлялся лавиной туда, и долго, бесконечно долго тянулась вереница искавших благословения, где-нибудь за колонной, где он таился, — чтобы не «подвести» собою причт этого храма, — в монашеском своем одеянии, и благословлял, благословлял свой милый сердцу народ «холодной северной столицы».

Духовные дети готовы были не отходить от него ни на шаг. Одна упросила его приехать к ней в пригород, где она жила, с тем, чтобы туда могли приехать и некоторые другие. Он согласился, хотя всячески старался развенчать себя в глазах глубоко чтивших его духовных чад. Так, зайдя к молоденькой Нине с ее подругами, на упомянутое ею в разговоре слово о высокой жизни, которой она всюду искала поучиться, строго прикрикнул:

— Высокой жизни, высокой жизни! Настоящую высокую жизнь еще поискать надо. Кто высокой жизни, тот ни голода, ни холода не замечает, весь горя по Богу. А можно-ли сказать, что тот высоко живет, кто как вот я (показал на свой теплые сапоги) кутается, не терпит, чтобы ноги зябли...

Приехал он по обещанию в пригород, отстоял там обедню и пошел со своими чадушками. Войдя в жилище пригласившей его (той самой, которая переписывала ему «Врата Радости» и делала еще кое-что по жизнеописаниям) и оглядевшись, остановился в глубине комнаты, куда прошел своим быстрым, решительным шагом, — с недоумением и сожалением:

— Теперь я вижу, до чего тебе трудно было выполнять мои поручения! — воскликнул он.

— Почему, Владыко святой — изумленно спросила девушка.

— Так, вижу...

Что сказала ему эта старательно прибранная, большая светлая комната с Нерукотворенным Спасом в углу, где никого не было, кроме этой девушки, об отсутствующей матери которой он знал, что она неверующая, но девушка ему никогда не жаловалась, что ей трудно, не замечая, в усердии все выполнить, никаких трудностей?... Так он не сказал и более не возвращался к этой теме, но заметно опечалился и в тот же вечер понемногу взял свои задания и материалы обратно. (Все это пропало при повторившихся обысках неоконченное). (Девушка уже получила место и не нуждалась).

Среди собравшихся было три подруги. Он говорил им о том, какими надо быть осторожными в наше трудное время, рассказы-

вал о своих московских духовных дочках, как он им, ради безопасности, дал другие, условные имена. Окрестил и этих: Ниной, а хозяйку комнаты библейским именем — Диной. Этими именами велел и в письмах подписываться.

— Хотя от тюрьмы, правда, все равно не уйти, — объявил он. — Ты будешь сидеть (показал он на Нину), и ты, Мила, в тюрьме побываешь.

— Что вы! А она? — указала Мила на Дину, любимую свою подругу.

Он поглядел на Дину и помолчал, колеблясь, говорить, или нет.

— У нее другая судьба, — уклончиво сказал он. Мог бы я тебе сказать, да не полезно тебе сейчас знать это... уронил он тихо Дине.

Памятный был разговор. Нина попала в тюрьму год спустя: о Миле не имею сведений с 1941 года. А Дина попала за границу.

Дождливым ноябрьским вечером Дина шла провожать своего гостя на поезд. Из собравшихся в этот день она была единственная из очевидцев его деятельности в незабвенном 23-м году. Разговор неудержимо перешел на сердечно близкие обоим церковные темы. Он старался посвятить ее во все противоречия митрополичьего «лагеря» владыки Сергия Нижегородского, раздоры, местничества отдельных лиц, — все то, что поражало его так больно, что отвращало его от них: он избегал их приглашений, их искаательства, их обещаний и наград, жестоко тяготился признаваемой, однако, твердой невозможностью противустать им, отделиться от них — ради пользы Церкви.

— Только смотри, не суди их, — повторял он Дине. Я тебе все это говорю, но ты не должна осуждать их. И не рассказывай другим, чтобы нам не соблазнять их...

И Диной ощутилась полная невозможность осуждения — до того властно это было сказано. Но тяжело ложилось это на душу: невольно поплакалась она Владыке на теперешние тягостные серенькие будни Церкви, столь разительные после той былой, позабытой уже почти всеми, несказанной красоты ее.

Он слушал молча, ступая рядом через черные лужи неровного пригородного тротуара. И вдруг остановился.

— Ты еще увидишь славу церкви! — с жаром, с силой воскликнул он.

.....

У вокзала, увидав часы, вдруг тревожно спросил:

— Москва! Где Москва?

Т. е., в каком направлении отсюда Москва. Узнав, повернулся туда и незаметно послал туда свое благословенье. Кто-нибудь, верно, из тамошних чадушек просил помянуть его в определенный час.

У нас он везде ходил в своем монашеском платье и тихонько усмехался: «Не поверят ведь мне москвичи, что я здесь в своей одежде хожу! У нас это давно уже не принято!»

Погостил он у нас с недельку, посещая могилки родителей, съездил к блаженной Ксении, к месту погребения о. Иоанна Кронштатского (на Карповке в Иоанновском (?) монастыре), которых глубоко и живо почитал; несмотря на крайнюю усталость, проехал к одной семье фабричных, уверявших, что у них обновляется Икона Божьей Матери и отслужил ей молебен, буквально шатаясь от утомления.

И уехал назад.

В следующем 1933 году, в день своего рождения и в советский праздник, 1 мая, был он снова арестован. Через полгода удалось узнать, что он выслан в Сибирь, за Маринск (Томской губернии), на какую-то глухую станцию Яя. По слабости здоровья его освободили от тяжелой работы и поручили наблюдение за лесопильной рамой. В свободное время он занялся составлением (совершенно новая сфера деятельности!) словаря советских сокращенных наименований — уж от скуки, что ли? Впоследствии только узнали мы, как тяжело ему там было. «Столько я плакал там, так плакал!» — рассказывал впоследствии он.

Три года отбыл он и там. Наконец, узнали мы (он писал обычно на адрес бывшей дворничихи Спасского братства, Марии Николаевны Чулковой, неутомимо помогавшей ему) в 1936 году, что он возвращается и, так как путь лежит все равно через Ленинград, заедет туда — на сутки!

Больше было нельзя. Следствием этой высылки было «минус шесть»; в этих шести, т. е. и Москве, и Ленинграде можно было пробыть не более суток. Но как же рвался он снова в свой недостойный Ленинград, если вот и после этой страшной ссылки торопился хоть на несколько часов туда!

Страшное свидание.

В жилище Марии Николаевны, где четыре года назад в епитрахили и поручах служил он напутственный молебен с акафистом, вдохновенный, недостижимый — стоял у стола маленький сухонький старичок в зипуне и ватных шароварах, заправленных в боль-

шущие валенки. Совершенно серебряные волосы были коротко острижены, складка на лбу выступила вперед между двух глубоких борозд, и только голубые глаза, большие, беспокойные, были полны прежней энергичной, неутомимой жизни.

И движения остались те же, короткие, быстрые, тот же короткий отрывистый говор.

— Ну, как? Жива? работаешь? Знаю, знаю.

Тесная комнатка наполнилась друзьями, близкими (увы! не родными: оба брата на этот раз были арестованы, а сестра боялась ради детей встречаться с ним), жаждавшими взглянуть, послушать дорогого изгнанника. Но он рассказывал мало, все сам расспрашивал, то одного, то другого, вспоминал их бытовые мелочи, посылая поклоны и гостинцы (из принесенных ему только что) отсутствующим и больным. Добродушный юмор не покинул его, голубые глаза то и дело весело поблескивали, не сходила с почти беззубых уст ласковая улыбка (зубы терять начал он уже с первой ссылки, от Соловецкой цынки, верно).

— Да, с Григорием Петровичем Устьянцевым не шути, — говорил он, и видя общее недоумение, пояснял:

— Это ГПУ у нас так прозывали. А то еще Галина Павловна Утюжкова.

Нечего было и думать в этот раз показываться где-либо народу, в церкви. Да и некогда было. Хотя он пробыл два дня, вместо одного, тайком, прячась от людей, появляясь только в кругу верных...

Следующий день провел у больной монахини матери Иоанны, лежавшей в квартире его старшей братицы Феодосии Дмитриевны К. Туда набилось столько желающих поговорить, посоветоваться, поисповедоваться, открыть душу, что забравшись туда с утра, к концу дня он должен был объявить оставшимся:

— Друзья, больше ничего не могу! Сегодня должен уехать, и времени больше не остается. Поймите, я сейчас только проходящий путник. Я только смотрю по пути: горят ваши огоньки, или нет. Вижу, горят и слава Богу!

Плач и рыдание стояли в помещении. Он не имел времени даже отслужить молебен, — да и стены были с ушами кругом. Благословил всех, перекрестился, нахлобучил ушатую шапку, пальто накинул — и опять нет его, опять в дальний, неведомый путь.

Может возникнуть вопрос: для чего ж они были нужны, что давали его духовным детям эти краткие, так дорого ему стоившие посещения, если даже поговорить, посоветоваться не удавалось?

Ничего, как будто, кроме обиды, разочарования, досады на других, успевших? Да, тяжело иногда до боли было, что столько ждешь, так готовишься к этой встрече, к этому свиданию — и опять ничего, опять прошел мимо вечный путник.

А потом оглянешься: да что это с тобою? Отодвинулся куда-то мир с тяжелой суетой и заботой, таким ничтожным, преходящим, ненужным видится, а душе раскрылся иной мир, иное захватило стремление и влечет к себе так властно, так просто, словно и существует только она одна, вечная Правда Божья. Лишь когда потеряешь неосторожною душою это истинное состояние души, увидишь, как это питало сердце несколько дней подряд, и явилось именно следствием — как ни странно — мимолетного этого посещения. Неуклонно всякий раз это было, и видимо звало душу к работе над собой.

Владыка намеревался теперь обосноваться под Москвой за 100 км. от нее, как предписывал «минус шесть». Тут вышло у него разногласие с духовными детьми: последние уговаривали его воспользоваться «минусом шесть» и скрыться навеки в какой-нибудь глуши от упорных советских преследователей, обещали купить ему дом, дать верных людей для услуг — нет! Столько еще было в нем неукротимой жизни, жажды деятельности, стремления делить с людьми их горести и радости, что если не под навсегда недоступным Ленинградом, то вблизи Москвы искал он убежища.

— Ведь, как я просила! в ногах валялась, плакала, — с жаром, жестикулируя, в отчаянии рассказывала Мария Ник. Ч. — уезжайте вы, Владыка, куда-нибудь вглубь; ну, молился бы себе там, служил потихоньку: так нет, ни за что. Вот, подай ему Москву! Ну, и что? Опять спадают.

Сколько было правды в словах этой многоопытной, до конца преданной души. Простая, полуграмотная вдова дворника, привязавшаяся к Владыке еще в бытность Спасского братства, всей душой уверовавшая в его святую, она постоянно стремилась и умела быть ему полезной: в дни его церковной деятельности она шила ему облачения (и теперь бережно хранила их в тесной каморке своей), во время ссылок выполняла его поручения к родным, которых всех знала, собирала и отправляла ему, высланному, посылки, т. к. из многих ищущих ему помочь никто лучше нее не умел подобрать впору, перешить или достать (нелегкая задача в Совдепии) для него одежду, отыскать ему какого-нибудь особого варенья или сухих фруктов в посту. Она писала ему — каракулями — обстоятельные, но достаточно обдуманные письма, в то вре-

мя когда другие боялись поддерживать с ним переписку, и принимала его у себя, как мы видим, когда этого не решались сделать родственники. Когда сестра его, после вторичной высылки Андрея (его опять угнали в Соловки), отказалась держать у себя библиотеку Владыки, М. Н. перетащила ее к себе и набила книгами все сундуки, из-за чего рассорились с племянницей и вынуждена была с нею разъехаться. И теперь, когда Владыка вернулся и мог бы поселиться в глуши, она втайне мечтала уехать за ним и служить ему верой и правдой до конца дней. И уж пригоднее ее не найти было никого в целом свете для этой цели.

— Да нет! невозможно! — с видом испуга возражал Владыка, когда духовные дети высказывали ему эти мечты М. Н. и поддерживали их в его пользу: — немыслимо! Она свяжет меня по рукам и ногам, жизни мне не даст!

Пожалуй, он был прав. Она так и не могла примириться, что он поселился в деревушке, близ ст. Завидово, на заветном пути между Москвой и Ленинградом. С трудом он нашел там себе комнатку в избе крестьянки, что-то почуявшей под необыкновенной внешностью постояльца. «Дядя Витя», как он велел себя величать теперь, тщетно искал дружбы у хозяйских ребятишек: только малолетние не чурались его.

Что за жизнь была! Каморка едва отделялась чуть-ли не картонной перегородкой от шумных хозяев (самое темное простонародье это было), стол посреди комнаты вмещал на себе все разнообразное хозяйство владельца: на почетном месте стояли иконы, тут же груды книг разного содержания (он не перестал заниматься словарем сокращенных наименований, держа его, как благонамеренное занятие в глазах внешних) чередовались с посудой и кулечками скромной провизии. Он сам себе готовил на керосиновой кухне, а керосин возила ему — под угрозой попасться под штраф — верная душа из Москвы. Стряпня была несложная: он все одинаково кипятил до отказа, будь то овощи, или макароны, и как-то, когда ему приготовила обед посетившая его гостья, признался:

— Удивляюсь, как ты хорошо сварила макароны! А я, как ни варю, все невкусно: прямо каша, тесто получается.

Скучал он здесь. В письмах иногда горько жаловался, как томится. Развлечением — опасным — служили ему поездки в Москву, то, чего как раз так боялась М. Н. Там, среди неосторожных, а также, к сожалению, и неверных духовных детей, была у него очень преданная семья Розановых; Леля, (та самая девушка,

которая возила ему контрабандой керосин), служащая библиотеки, ее сестра и отец, жившие в уединенной квартире. В условленное время он появлялся, стучал в стенку с лестницы, чтобы никто из обитателей дома не видал его (приемы, очень распространенные в Москве среди верующих) и туда, если надо было, собирались те, кого он хотел видеть. Для внешних, эти визиты в Москву производил он якобы по делу, ради своего труда по словарю, на счет которого он ходил по учреждениям, где ему обещали издать его, — а втайне он опять стремился помогать больным и страждущим, облегчить горюющих, укрепить падающих.

Служить в храме он, конечно, нигде не мог. И больно было видеть, как однажды летом, по пути куда-то с нами (я гостила в Москве у подруги тогда), попросил он завернуть в недалекие Кадашевские переулки: он забежал в какую-то калитку, подошел к стоявшему посреди двора искалеченному, заключенному зданию, в котором с трудом можно было узнать церковь. Он быстро обошел его кругом, оглядел, взялся за решетки окон и силился заглянуть внутрь сквозь забитые доски.

Здесь он служил в последний раз. Бедный старый орел, тоскующий по былым высотам своим! Но тогдашнее униженное подчиненное светской (и советской!) власти положение Церкви так угнетало его, что он всего более искал скрыться от церковного главы Московского, чтобы не попадаться ему на глаза. С какой усмешкой тихого довольства заметил он: — Они и ведь не знают, где я живу. Никогда не говорю!

— А вообще-то знают, что вы здесь? — спросишь.

— Как же, знают! Приглашают, — и нельзя не ехать. Послушание, ведь, монашеское...

Видимо, за то же послушание согласился Владыка в 1937 году отслужить на Страстной и Пасхальной неделе в одном из храмов московских. Не знаю, зачем это понадобилось митрополиту Сергию, предписавшему ему это: хотел-ли он снова поставить его куда-нибудь архиереем, или другое что было у него на уме, но Владыке это было весьма не по душе, и очевидцы говорили, что очень нервно отправлял он эти несколько праздничных служб. Сам он молчал об этом внезапном и больше не повторявшемся инциденте.

И однако, не произносил он на главенствующих иерархов последнего суда. Когда кто-то из детей духовных советовался с ним относительно нового тайного церковного движения, возник-

шего в Москве в протест против мероприятий митрополита Сергия, он неодобрительно покачал головой:

— Разве не чувствуется в самом названии их «Восходящая» — оттенка гордости? — заметил он.

Ценил он в своем уединении всякого посетителя. Когда Дине случилось у него побывать, он навьючил ее яблоками для передачи своим ленинградцам, тепло простился с нею у крыльца избенки: а потом, несмотря на мертвую темень осенней ночи (до таких деревушек «лампочка Ильича» и в 37 году не добралась), прибежал вслед на станцию, посмотреть, как Дина сядет в Клинский поезд. Дина даже не сразу признала его в маленькой фигурке с поношенной кепкой на голове и от неожиданности отшатнулась, предположив в нем непрошенного любопытствующего.

— И я сюда пришел, — повторил он несколько раз, чтобы она его узнала. Выбрал ей вагон, в котором ехать, и стоял, и смотрел, как отошел поезд, и крестил его вслед, пока не скрылся последний огонь фонаря.

Посылал он в Ленинград верную свою Лелю с поручениями; наконец, снова не выдержал и в начале 1939 года написал, что едет сам.

Писала ему М. Н., что не имеет более возможности хранить его книги (ее таскали не раз на разные допросы) и просила его распорядиться, как быть. Разобраться в них он и ехал теперь, и просил оставить ему только жизнеописания подвижников благочестия.

Без разрешения властей поехал, тайком, не благословившись у своих «старцев», как он говорил. Каких это старцев, где он их брал в наше время — неизвестно. Вообще стал он говаривать намеками, таинственно усмехаясь.

Одной Дине велел встречать его. Не утерпевшие другие чадушки стояли у всех подъездов Московского вокзала. Мар. Ник. Ч-ва с трепетом ожидала у себя драгоценного гостя. Он же, встретясь с Диной, прошел в зал ожидания и велел Дине сначала предупредить и подготовить М. Н. и вернуться за ним.

Бедная М. Н. даже на лестницу выскочила. «Как? Одна идешь? Почему одна?!»

Успокоив ее, Дина отправилась назад. С удовольствием, с тайной тихой радостью и какой-то детской гордостью шел Владыка по темным улицам столь полюбившегося ему города. — И все-таки я здесь, — говорил он, улыбаясь уцелевшему еще тогда храму Знамения на площади, огонькам далекой Александро-Нев-

ской Лавры, — таким мучительно знакомым, дорогим местам. Он был так доволен своим выбранным для поездки из незатейливого гардероба белым дождевиком, а М. Н. и руками всплеснула:

— Светы мои! Так и ехали? И как еще Бог хранил — на первой же станции не забрали!

В ее комнатке уже собралось обычное общество. На по-прежнему заботливые расспросы, кто на что пожаловался: кто на расстроенное здоровье, кто на заботы, а кто и на оскудение Церкви.

— Что вы! — улыбнулся Владыка. — Церковь цветет, — цветет, как никогда!

— Да ну-у? Это сейчас-то?

— Сейчас.

Переглянулись мы. Не о «восходящей» же он говорит?

— Да где же, Владыка? Скажите.

Не сказал. Только улыбался беззубым ртом, и глаза блестели весело. И, улыбаясь же, начал что-то в роде притчи:

«Жил старец в монастыре. И был у него послушник. Приходит он к старцу и говорит: «Тяжело, отче! Не управить мне жизнь мою, так скудна кругом вера и молитва. Где-же Церковь-то истинная?»

— Иди, говорит старец, обойди землю русскую, поищи веру в людях и через год приходи, расскажешь мне. А я скажу тебе, где церковь истинная.

«Пошел ученик. Побывал на севере, в Ленинграде, побывал на юге, побывал в сердце России и через год вернулся к старцу. Закрыт был монастырь и вне его нашел он старца. «Ну, что же ты видал?» — «Плохо, отче! Почти нет веры на русской земле. В Ленинграде еще есть люди, да в Москве свет виден, а так — что-то и не видно ничего». — «Так, говорит старец. — Иди, чадо, снова, и через год приходи». Пошел послушник и ходил целый год, и воротился к старцу. Тот же больной в каком-то сарае лежал, поманил, однако, к себе ученика: «Ну, как?» — «Плохо, плохо! Везде мрак, в Ленинграде уже еле теплится, в Москве еще что-то шевелится».... — «Иди, прошептал старец, — и через год приходи». Пошел ученик и ходил целый год, а когда вернулся, не нашел уже старца в живых».

Так мы и не поняли ничего из этой притчи. Не суждено знать было! И что так упорно напирал Владыка, что в Москве-то больше веры, чем у нас? Даже обидно немножко было.

Погоревали о снесенных храмах, и уж, конечно, о Московском Храме Христа Спасителя, на месте которого воздвигалась теперь проклятая Вавилонская башня, Коммунистический Дом Советов, долженствовавший превосходить высотой все существующие здания, вершину которого предполагалось увенчать колоссальной статуей Ленина, чью поднятую руку должно было быть видно во всех сельских окрестностях Москвы.

— Даст Бог, и не построят, — успокаивал Владыка. — Не надо было, собственно, и храма этого здесь воздвигать. В старину стоял здесь монастырь, один из старейших в России, в честь двух свв. угодников Его разрушили, так как один благодетель вознамерился создать здесь храм. А теперь, вот, видно, что не надо было трогать монастыря! И ничему другому здесь стоять не удастся...

(Как известно, в связи с войной Дом Советов тотчас прекратили строить, а теперь для военных нужд стали разбирать и начатое).

Мария Николаевна для приезда Владыки со всем своим искусством сумела так устроить, что куда-то удалила всех своих сожителей по квартире, и можно было служить молебен, о чем она и попросила гостя своего. Он согласился, однако, сугубой осторожности ради предложил все-таки петь «шепотом».

— Знаете, как про себя поете, без голоса? Вот так и будем. «Петь шепотом!» Это уж чистейшее «советское достижение».

Одна из присутствовавших, бывшая братчица, попросила его на следующий день прийти к ней: у нее будет «молодняк», две девушки, жаждущие хоть благословиться у него. Он пошел, отслужил у нее тоже водосвятный молебен, утешил «новеньких»: одна из них, (Зоя), девятнадцатилетняя монахиня духом, рада была увидеть того, кто так много значил в жизни ее ныне покойной духовной матери, м. Иоанны; другая, непокорная головушка, мятущаяся душа, пришедшая к вере от комсомола, (Вера Д.), готова была прилепиться к Владыке всей душой и следовать за ним, «куда бы он ни пошел».

Но приближался снова час расставанья. Провожали его уже почти все: М. Н., Дина, Мила, Вера, Маруся-братчица... Он долго стоял с нами на перроне, оживленно беседуя, утешая, надеясь на лучшее. Наконец, вошел в вагон и сел. В окно нам было видно его, но он — ради нас — делал вид, будто не видит, или не знает нас. Он сидел напротив окна, в темном пальто (вместо «невозможного» белого плаща), шапку положил рядом с собой на скамью.

И теперь было видно, — и больно было видеть, — как он состарился, как утомлен жизнью. Серебряная голова опускалась на грудь, бесчисленные морщины бороздили лицо, губы складывались горько и устало. Это был старик, придавленный нашей жизнью, казавшейся уже непосильной!

Но он поднял глаза — и преобразился. В этих больших голубых глазах было все еще столько бодрости, столько энергии! — как прежде. И понятно, что мы не заметили ранее его сгорбленности, усталости: в разговоре он оживлялся, кипел, горел! А теперь, вот, сел против нас, молча, среди чужих, и невеселые окутали его старческие думы...

Мы смотрели на него долго, словно чуя, что видим — в последний раз?

Он уехал. А через два месяца его взяли. Москвичи предполагали, что за эту поездку. Он был долгое время в тюрьме в Москве. Ему учинили суд, обвиняя его на этот раз в «контрреволюционной деятельности среди молодежи». Лелю Розанову вызвали в качестве свидетеля и следователь долго расспрашивал ее в уединенной беседе вовсе не о молодежи, а о причинах выезда Владыки в Ленинград.

Вызвали ее и на суд. Она говорила потом, что Владыка был спокоен, даже оживлен на суде. Что пробиравшая ее внутренняя дрожь (столь знакомая всякому вызываемому!) унималась при взгляде на него.

На вопрос судей, не рассказывал ли он что-нибудь молодежи, он вдруг ответил:

— Да, рассказывал!

Леля даже похолодела. Уж не тронулся ли, Боже сохрани! А он уже пояснял любопытно вытянувшим шею судьям:

— Одному мальчугану в магазине говорю: «Слышал-ли ты, как крестьянин, увидя в витрине ветчину, зашел в магазин и просит отпустить ему килограмм. — Нет, говорят ему, — это не ветчина, это бутафория! Так свешайте мне, говорит, кило этой самой бутафории!»

Это ходячий советский анекдот. С чего вздумалось Владыке подшутить над своими обвинителями?

— А больше ничего? — разочарованно спросили последние.

— Больше ровно ничего.

И все-таки его присудили к высылке, и на 10 лет! В третий раз отпиривался он в ссылку. Почти год мы ничего не знали о нем. Зимой, в конце 40-го года, пришла открытка на имя М. Н.

от «дяди Вити» из г. Канска, Красноярского края. «Я опять в Сиблаге», — писал он. «Я теперь здесь ночным сторожем. Стал совсем старенький, меня здесь зовут дедушкой. Если не боитесь еще иметь со мной дело — откликнитесь. Писать имею право не часто, так что скоро писем не ждите».

Мария Николаевна заливалась слезами и паковала ему посылки с теплыми вещами. В Москве даже Леля Розанова, до полусмерти напуганная судом, отказала ему в переписке.

— Готовьте письма, — говорила Мария Ник. весной: — в августе еду к Владыке в Канск, как отпуск получу (она в последнее время в услужении жила у акад. Терле).

В августе собиралась она ехать, а в июне грянула война!

Х.

БИБЛИОГРАФИЯ

ПУТИ РОССИИ — Д. П. Кончаловский, 1969 г. (270 стр.). Цена 25 фр. Издание YMCA-Press, 11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève, Paris-5°.

Подзаголовок книги довольно точно сообщает читателю ее содержание: «Размышления о русском народе, большевизме и современной цивилизации». Это труд историка: он не рассматривает путей России в будущем, он размышляет о ее прошлом и настоящем. Книга представляет не цельное сочинение, но ряд статей различного объема, которые автор в превратностях своей судьбы не имел времени или возможности напечатать и из которых лица, преданные его памяти, составили сборник. Он содержит девять статей; все они кроме одной, датированной 1925 годом и по своей теме — Суриков как художник-историк — стоящей несколько особняком, написаны между 1943-1949 гг.

Темы, обсуждающиеся в этих статьях не явятся для читателя новостью. Это традиционные темы русской интеллигенции: национальные черты русского человека, последствия Петровской реформы, государство и общество, судьбы интеллигенции в ее особом положении — между народом и государством. Однако, вопросы эти трактуются здесь совершенно по-новому, так как статьи эти были написаны уже после того, как произошла революция и в России водворился большевизм, а также и потому, что автор проявляет в их обсуждении независимость взглядов и оригинальность мысли, выводящие нас далеко за пределы обычных старинных споров. Следует отметить также, что к постоянному стремлению автора быть объективным примешивается часто сдержанное внутреннее чувство, которое не может не передаться читателю. Ибо эти раз-

мышления о России, написанные двадцать и более лет тому назад, сохраняют всю свою актуальность: ведь большевизм все еще существует и, несмотря на смену личностей его возглавляющих, остается верен себе.

Настоящее и прошлое России сплетены. Победа большевизма коренится в ее прошлом. Петр и его первые последователи открыли страну Западу, но они же распространили и усугубили крепостное право; а затем интеллигенция вместо поддержки правительству в его стремлениях европеизировать режим поддалась анархическому духу народных масс и увлекала их в революцию, вызывая тем самым реакционные меры правительства, в ответ на которые революционные тенденции разгорались еще сильнее; большевизм победил также, и может быть главным образом, благодаря войне, разразившейся в период, когда в России полным ходом шел процесс перерождения и созревания. Д. П. Кончаловский очень правильно выдвигает факт обычно упускаемый в писаниях по этим вопросам; факт этот — записка, поданная Государю еще в феврале 1914 г. его министром П. Н. Дурново: в ней он предсказывает, что война, каков бы ни был ее исход, приведет Россию к революции, которая будет всеобщей и социальной, ибо простые политические реформы не произнес это ответственное слово.

По своему происхождению Д. П. принадлежит к интеллигенции; как интеллигент, он страдает от ее ошибок, от ее отказа видеть Россию такую, какой она была. Он признает, что огромные успехи, достигнутые в стране с начала XX века, были плодом конкретных усилий людей науки, техников и практиков, а не абстрактных умозрений — сколь благонамеренны они ни были, — которым предавались представители интеллигенции.

Точно так же Д. П. не является монархистом наперекор и вопреки всему; но он констатирует и в ярком свете выставляет роль, сыгранную монархией в скреплении государства, терзаемого противоречивыми стремлениями. В статье, озаглавленной «Состояние русского общества перед войной 1914 г.», есть очень сильные и яркие страницы, посвященные царизму, дающему «прочную спайку огромному и сложному телу России» и верно ведущему ее «по ее историческим путям», «в силу органической связи, существовавшей между ним и живым народным телом». Как грандиозная фреска разворачивается перед читателем изображение царизма на всем протяжении его истории: царизм воплощал Россию «с ее силою и слабостями, с ее достоинствами и недостатками», это он создал колоссальную империю орудиями часто примитивными и нерациональными, ценою огромных пожертвований и лишений со стороны народа; после 1905 г., потеряв свои традиционные устои и добрую половину своего престижа, царизм «продолжал держаться силою привычки, традиции, опыта, рутины», так что нужна была мировая война, чтобы его свергнуть, а «его падение в 1917 г., ввергло Россию в анархию и хаос». В чем я не могу согласиться с Д. П., это с его взглядом на возможности и перспективы общественного самоопределения русского народа. Строгость и пессимизм его заключений, основанные на историческом прошлом народа, не находят достаточного оправдания в неудаче вечевых порядков, земских соборов или конституционных поползновений верховников в XVIII в. Такой пессимизм рискует подкосить всякую надежду на освобождение от нынешней «лицемерной диктатуры». К тому же такой взгляд

предполагает в авторе исторический детерминизм, который, как мне кажется, не соответствует его христианской философии.

Христианская мысль, или может быть точнее, христианская настроенность, автора выявляется на всем протяжении статьи "Современная цивилизация и христианство". Свое убеждение в противоположности между миром сим и учением Христа Д. П. основывает на текстах из Евангелия и апостола Павла, которые приводит и подробно комментирует в большей части своей статьи. Тексты эти непреложны, приспособлять и подслащивать учение Христа нельзя: заповеди блаженства и присущий современной цивилизации гедонизм непримиримы. Следует ли из этого, что христианин должен отказаться от участия в жизни и от средств и преимуществ цивилизации? Нет, это было бы невозможно, да этого и не требуется. Сам Христос предвидел победу зла в мире и угасание веры. В чем же тогда обещанная Им победа? Победа христианина заключается единственно во внутреннем перерождении человека и в построении своей жизни на вере и любви. Этот путь понятен и доступен каждому; он зависит от нашего свободного выбора.

Рассматривая в конце статьи различные течения среди христиан и градации в их приятии учения Христа, автор со здравым взглядом на действительность признает, что все мы "нынешние христиане" останавливаемся на полдороге, верим в науку и прогресс, стараясь в то же время оставаться христианами в смысле апостола Павла. И он заключает без прикрас "отсюда наша половинчатость и слабость". Надо прочесть всю статью... а также и всю книгу.

Пьер Паскаль.

СМЫСЛ ИСТОРИИ — Николай Бердяев. УМСА-Press, Париж, 1969 г., (15 фр.).

Чудесная культура русского серебряного века была уничтожена — чернейшее преступление против Духа. Но огонь угас не сразу. Первые годы после Октябрьского переворота в среде русской элиты давался духовный отпор темным силам, шло творческое обсуждение происшедшей катастрофы, ее проблематики — и проблематики "вечных" тем. Продолжалось духовное творчество.

Николай Александрович Бердяев создал тогда в Москве "Вольную Академию Духовной Культуры", где, перед большой аудиторией, читались доклады и происходили обсуждения их, на прежнем высоком уровне. Там Бердяев читал и свои лекции по философии истории, из которых родилась книга "Смысл Истории", изданная 46 лет тому назад, в Берлине. Теперь она переиздана — и как это хорошо!

Ведь она создавалась в особо знаменательные дни жизни Н. А. Он вообще был бесстрашным человеком, но проявилось это бесстрашие особенно ярко в то время. У Бердяева это была пора исповедничества: "С коммунизмом я вел не политическую, а духовную борьбу, борьбу против его духа, против его вражды к духу".

На диспуте о Христе (несколько тысяч разъяренных красноармейцев и матросов) вдохновенное слово Н. А. покорило враждебную аудиторию. Так он выступал неоднократно.

Он был арестован, допрашивал его сам Дзержинский. Бердяев сразу же сказал ему: "Я считаю соответствующим моему достоинству мыслителя и писателя прямо высказать то, что я думаю". И высказал, не обинуясь, по каким религиозным, философским, моральным основаниям он — противник коммунизма. Совершенно замечательно, что он тут же был освобожден. Через несколько дней он встретился с Дзержинским на улице — и не ответил на его поклон. А с теми, кто шел на малейший компромисс с Советской властью — Бердяев немедленно рвал.

Когда его выслали из России, он бесконечно страдал, не хотел покидать родную страну и народ. Его духовником был о. Алексей Мечев, пастырь необъятной духовной силы, провидец, могила которого и ныне посещается ищущими утешения и исцеления. О. Алексей благословил Н. А. и сказал: "Вы должны ехать на Запад, чтобы Запад услышал Ваше слово".

Одним из первых трудов Бердяева, вышедших на Западе, и был "Смысл Истории", книга, которую он любил: "Из всех моих прежних книг я, по-настоящему, ценю лишь "Смысл Творчества" и "Смысл Истории"."

"Смысл Истории" дорог и нам — прежде всего, для понимания духовного пути Бердяева. В этой книге — много основных идей Н. А.: предмирная свобода; свобода, которую Бог ждет от человека; "небесный пролог" истории человечества; историчность еврейства и неисторичность эллинизма; "собранность" средневековья и "расточительство" ренессанса; распад человеческой личности в безбожной цивилизации; отрицание оптимистической и "вампирической" идеи прогресса; мысль о высоком смысле конечности истории и полной бессмыслице ее бесконечности; трагедия Бога и Богосыновство человека; Явление Христа Грядущего, как завершение борьбы света и тьмы, при нарастании положительных христианских сил...

Но вот, вчитываясь в книгу Бердяева, мы начинаем замечать, как по особому расставлены ударения на главных его утверждениях, в прямой зависимости от настроенности Н. А., вызванной Октябрем.

О проблематике марксизма, как будто, нет речи, но основные идеи Н. А. даны так, что оказываются еще более неотразимыми аргументами против самых основ марксизма, против его "философии".

Примечательно, что боль от разрыва с культурным и историческим прошлым России вызывает у Бердяева апологию "исторической памяти", исторического "священного предания", без которых нет ни истории, ни культуры. Впоследствии, это не будет характерно для Бердяева.

Отталкивание от устройства "Иерусалима Земного", от социализма, как секуляризованного ветхозаветного устремления к счастливому земному устройению, вызваны, конечно, отвращением от губительного социального максимализма Ленина. Сама проблематика судьбы еврейского народа получает совсем особое освещение.

К "Смыслу Истории" приложена статья "Воля к жизни и воля к культуре", глубокий и яркий экскурс о взаимоотношении "культуры" и "цивилизации". Очень существенна в этой статье мысль о коммунизме, как о порождении механической цивилизации. "Коммунизм принял дух "буржуазной" цивилизации, принял отрицательное ее наследие". Отчасти отсюда, в "Смысле Истории", мысль о необратимости случившегося

в России. Сделаны все последние выводы, пути назад нет, а впереди — путь духовного преодоления. Спасение — в победе христианских преобразующих сил.

Исповедание Бердяева и книги его — подлинный духовный динамит и там, в России, молодежь уже берет за это оружие духа: вспомним о процессах Союза и кружков, одушевленных идеями Бердяева.

Есть мыслители, создающие строго-логические, отвлеченные системы. Так же отвлеченно-логически их можно резюмировать. Произведения же Бердяева переживаются нами как живая беседа с ним. В них — сам Н. А. со своим редким душевным благородством, совершенным бесстрашием мысли и действия; внутренне одинокий, как многие, имеющие духовный опыт стояния лицом к лицу со своим Творцом; размышляющий о Боге, о мире, его судьбе и его зле; о природе, об обществе, о судьбе народов и человечества — и все это во имя человека.

“Смысл Истории” — книга*), насыщенная глубокими идеями, сильными мыслями, исполненная духовной взволнованности.

Появление ее — большая радость.

Сергей Жаба.

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ — Михаил Булгаков. УМСА-Press, Париж, 1969 г., 160 стр. (15 фр.).

Михаил Булгаков вступил в литературу два года после октябрьской революции. Очень скоро, как и все писатели, он был поставлен перед выбором, либо сломить свой талант ради благополучия и сомнительной славы при жизни, либо писать “в ящик стола”, обрекая себя на нищету и безвестность. Следуя им же самим прославленным традициям интеллигенции, Булгаков раз и навсегда выбрал второй путь. С 1927 года, ни одна его строчка, вплоть до наших лучших времен, не появилась в печати. А пьесы его, за исключением “Дней Турбиных”, пользовавшихся непонятной благосклонностью самого Сталина, или не допускались к постановке, или снимались после нескольких представлений. Но жизнь еще раз подтвердила неизменный евангельский закон: погубивший свою душу, сбережет ее. Сегодня, более четверти века после смерти писателя, мы присутствуем при стремительном, почти что стихийном его возвращении в литературу.

Сорок два года отделяют написание “Собачьего сердца” от этого первого печатного его издания. И мы не знаем, сколько лет эта повесть пролежала бы еще в архивах, если, по счастливой случайности, список с нее не попал бы за границу.

Из всех “погубленных” при жизни Булгакова произведений, “Собачье сердце” наименее известно. В печати о нем нигде не говорится. Мы не найдем о нем упоминания ни в письме Булгакова советскому правительству, где он поименно перечисляет ряд опальных или безнадежных вещей (от “Багрового острова” до черновиков будущего романа о дья-

ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО

РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Члены Центрального Бюро Р.С.Х.Д.: Председатель — Архиепископ Сильвестр Монреальский и всея Канады; Вице-председатель — проф. прот. Алексей Князев; Вице-председатель — проф. прот. Александр Шмеман; генеральный секретарь Р.С.Х.Д. — Кирилл Александрович Ельчанинов; пом. генерального секретаря — Нина Константиновна Рауш.

Члены Бюро: прот. Игорь Верник; о. Петр Чеснаков; Сергей Ребиндер; И. В. Морозов; И. Н. Чеснакова; Людмила Овтрахт; Н. А. Струве; Михаил Соллогуб; Сергей Морозов; Александр Викторов.

2-го января 1970 года в доме Р.С.Х.Д., (91, рю Оливье де Сэрт, Париж - 15), состоялось заседание Центрального Бюро Р.С.Х.Д., на котором обсуждались следующие вопросы:

- 1) Созыв Общего Съезда Р.С.Х.Д. в 1970 г.
- 2) Издание “Вестника” в расширенном виде.



(Слева направо):

1-ый ряд — Нина Константиновна Рауш; о. Петр Чеснаков, вице-председатель Р.С.Х.Д. во Франции; прот. Алексей Князев, вице-председатель Р.С.Х.Д. за рубежом и председатель Р.С.Х.Д. во Франции, ректор Православного Богословского Института в Париже; прот. Александр Шмеман — вице-председатель Р.С.Х.Д. за рубежом, декан св. Владимирской Академии в Нью-Йорке; прот. Игорь Верник, священник Церкви Введения во храм Пресв. Богородицы при Р.С.Х.Д. в Париже.

2-ой ряд — Ирина Николаевна Чеснакова, Иван Васильевич Морозов, генеральный секретарь Р.С.Х.Д. во Франции; Михаил Соллогуб; Сергей Морозов; Никита Алексеевич Струве.

воле, "Мастер и Маргарита"), ни в обстоятельном предисловии В. Лакшина к избранной прозе Булгакова (Москва, 1966 г.).

Есть основания думать, что именно "Собачье сердце" и определило трагическую судьбу писателя. И это не удивительно. В "Собачье сердце" Булгаков вложил свои основные мысли о событиях, постигших Россию. В сюжетном отношении "Собачье сердце" как бы близнец "Роковых яиц", написанных годом раньше, в 1924 году, и неожиданно пропущенных цензурой. Обе повести — утопические сатиры на одну и ту же тему: о характере и целесообразности социальных переворотов в истории. И в одной и в другой, Булгаков образно выразил то, что он откровенно назвал в письме к правительству "своим глубоким скептицизмом в отношении революционного процесса", а наивному народничеству, проникшему в официальную идеологию, противопоставил свою веру в ведущую роль интеллигенции, этого "лучшего слоя страны". И там и тут положительными героями выступают представители интеллигенции, при чем в "Собачьем сердце" подчеркнуто их скромное сословное происхождение: профессор Преображенский — сын протоиерея, а его ассистент, Борменталь, из еврейской чиновничьей среды.

Но в исполнении замысла между "Роковыми яйцами" и "Собачьим сердцем" имеются существенные различия. В "Роковых яйцах" чудаковатый профессор биологии Персиков сделал потрясающее открытие: его луч жизни производит необычайно быстрое размножение яйцеклетки. Но это бескорыстное открытие, в ударном порядке, использовано чиновником от правительства Рокком, для восстановления совхозного куроводства, разоренного таинственным мором. По бюрократической ошибке, в колхоз из Германии присланы не куриные, а змеиные яйца и под действием красного луча из них вылупляются чудовищные гады. Местное бедствие становится национальным. Разъяренная толпа убивает без вины виноватого проф. Персикова. И если бы не вмешательство природных, иррациональных, сил, — лютый мороз в середине августа — вся страна погибла бы от нашествия размножающихся чудовищ.

Почему, закончив "Роковые яйца", Булгаков немедленно вернулся к той же теме? Был ли он не совсем удовлетворен ее разработкой или просто хотел осветить ее под новым углом, мы не знаем. Но в "Собачьем сердце" он несомненно придал этой теме, переведя ее в чисто антропологическую плоскость, гораздо большую закономерность и цельность. В "Роковых яйцах" катастрофа произошла не столько от использования луча жизни, сколько от роковой, но случайной ошибки. В "Собачьем сердце" нет никакой случайности. Нет также и той фантазмагии, которой порой увлекается Булгаков и которая затемняет иногда его основную мысль. Фантастический элемент в "Собачьем сердце" сведен к самому необходимому, к центральному происшествию, приобретающему значение символа. Но не будем пересказывать повести. Предоставим самому читателю радость открыть, к чему ведет пребывание ошпаренной дворняжки в уютной квартире московского профессора. Остановимся лишь на одном отличии "Собачьего сердца" от "Роковых яиц". "Собачье сердце" имеет счастливый конец: профессору Преображенскому удалось предотвратить бедствие. Увы, исторические события подтвердили скорее развязку "Роко-

вых яиц". Разбушевавшиеся "шариковы" первым делом обернулись против породившей их интеллигенции, обеспечив тем самым себе долгую жизнь. Но, как раз, значительность "Собачьего сердца" в том, что в нем новому общественному явлению, не легко определимому, найден образ и дано имя. Можно смело предсказать, что "Шариков" (а за ним, вероятно, и "шариковщина") войдет в русский словарь как наименование нового типа людей, порожденного революционными скачками и техническими открытиями наших дней.

Значительное по своему социально-философскому замыслу "Собачье сердце" поражает и законченностью своего исполнения: острый комизм, легкий, чеховский юмор, драматическая напряженность рассказа, стройная архитектура целого, все эти качества ставят "Собачье сердце" в ряд лучших произведений русской прозы XX столетия.

Н. А. Струве.

ХРИСТИАНСТВО, АТЕИЗМ и СОВРЕМЕННОСТЬ. Издание YMCA-Press, Париж, 1969 г. 176 стр. (9,50 фр.).

"Христианство, атеизм и современность" — содержит четыре статьи, появившиеся уже ранее в печати, но объединенные теперь в одном томе, который дает возможность прочесть их одна за другой и составить себе более полное впечатление о мыслях русских христианских философов в отношении проблемы материализма.

Первые два очерка принадлежат Н. А. Бердяеву и озаглавлены "Марксизм и Религия" и "Правда и ложь коммунизма". В первом автор разбирает происхождение и философские основы марксизма, его основные идеи, вопрос о том, является ли религия "опиумом для народа и орудием эксплуатации", проблему противоречий в марксизме, и вопрос о марксизме, как своего рода религии, основанной на идее мессианства пролетариата.

Второй очерк, "Правда и ложь коммунизма", имеет подзаголовок "К пониманию религии коммунизма" и разбирает одну из самых острых и современных проблем человеческого общества в наши дни. Автор дает много материала для размышления, но ставит также вопрос о том, что может противопоставить христианство надвигающейся постепенно, но верно коммунизации мира.

В своем очерке "Материализм и Материя" Владимир Николаевич Ильин разбирает вопросы о современном торжестве материализма, о материализме, как духовном течении, и о двух видах материализма и материи — философов и натуралистов. Семен Людвигович Франк посвятил свой очерк "Материализму, как мировоззрению". Он делит свою статью на два разряда "материализм как философское учение" и "материализм, как вера".

Оба очерка, и В. Н. Ильина и С. Л. Франка, дают богатый материал для оценки так широко распространившихся в мире и захвативших умы учений и очень полезны всем тем, кто хочет осознать свою веру или хотя бы понять, что не "о хлебе едином жив будет человек".

П. Ковалевский.

ЦЕРКОВЬ и РОССИЯ — В. О. Ключевский. Издание YMCA-Press, Париж, 1969 г. 90 стр. (7,50 фр.).

Три статьи-лекции проф. Василия Осиповича Ключевского на общую тему "Церковь и Россия" изданные YMCA-Press, касаются влияния Православной Церкви на устройство гражданского права и порядка в стране. В наше время, когда роль Церкви стараются всячески свести на нет, яркие и жизненные примеры, даваемые В. О. Ключевским, доказывают, что благотворное влияние это было не только велико, но часто решающим.

В. О. Ключевский (1834-1911) был не только профессором Московской Духовной Академии, но и профессором Московского Университета и объединял в своем лице духовное и светское знание. Если его много-томная история не вполне отделана и является записью части его лекций, то его работы о древних житиях святых и приводимые три очерка вполне закончены и обработаны самим автором.

П. К.

ОБЗОР ПЕЧАТИ*)

"Вестник" русского западно-европейского патриаршего экзархата, № 66 (1969), № 67 (1969), Париж.

В этом номере помещены две ценные статьи. Первая — архиеп. Василия Кривошеина, на французском языке, исследует экклезиологию св. Василия Великого. Эта тема не легкая, так как у св. Василия нет специального трактата о Церкви: рассыпанные замечания в разных произведениях показывают, что св. Василий рассматривает Церковь как живой и ценный организм, а не как учреждение, где одни властвуют над другими. Отношения между епископом и народом, с одной стороны, между поместными церквами — с другой, определяются только любовью и верностью Истине, а не внешними критериями. Среди поместных церквей св. Василий почитал особенно Александрийскую кафедру и ее великого возглавителя св. Афанасия и Антиохийскую — он был дружен с Мелетием Антиохийским.

Он признавал, в пределах Западного мира, значение Римской кафедры, но не выделяя ее и не придавал ей никаких особых прав (уж не говоря о непогрешимости).

Вторая статья — первая глава книги "О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви" — принадлежит перу известного исповед-

*) Обзор этот касается богословских журналов или тех статей в общих журналах, которые имеют отношение к богословию, философии и литературе.

ника веры еп. Афанасия Сахарова († 1962). Это есть ценная попытка вернуться к подлинному церковному уставу, строго ограничивающему употребление заупокойных молитв. Как известно, в современной практике, панихиды служатся даже в праздничные дни, и, что особенно противоречит литургическому духу, после воскресных литургий. Еп. Афанасий разъясняет смысл устава и призывает к послушанию Церкви.

67-й номер менее ценен, чем предыдущий. В нем две переводные статьи: с русского на французский переведена статья Павла Черемухина (тогда иеромонаха, теперь, вследствие женитьбы, снявшего с себя сан), о соборе 1157 г. в Константинополе, которая была напечатана 10 лет тому назад в первом выпуске "Богословских трудов" Московской Патриархии.

Вторая статья, прот. И. Мейендорфа, переведена. Читатели найдут ее в переводе, проверенном автором, на страницах настоящего номера "Вестника" Р.С.Х.Д.

"Возрождение", № 215, ноябрь 1969 г., № 216, декабрь 1969 г. Париж.

В обоих выпусках продолжение и окончание "Варшавского дневника" Зинаиды Гиппиус, повествующего о последних, слабых, надеждах на политические изменения в России. В ноябрьском номере интересная, но может быть слишком строгая статья П. Е. Ковалевского о "духовном кризисе римского католичества". Автор пишет о "духовном развале" католичества, о "полной утере чувства святынь" и даже об "утере веры" в связи с демифологизацией Евангелия.

"Свобода не только обсуждать, но и проповедовать свои индивидуальные воззрения, выдавая их за церковные, привела к тяжелым результатам. Она показала, что многие духовные лица исповедуют неопределенный деизм и что есть не только рядовые священники, но и ученые монахи, которые отвергают Воскресение Христово и толкуют его как "символ"..."

Ковалевский считает, что Православие "может много дать католикам в настоящее время". Увы, как нам кажется, лишь очень малая часть католиков способна воспринять "православие". Большинство же неуклонно тянется к протестантству, причем не в его первоначальной умеренной форме, а к самым крайним его проявлениям.

В декабрьском номере следует отметить прежде всего превосходно написанную, умную и тонкую статью В. Васютинской-Маркадэ об отце Григории Круге, с которым она была хорошо знакома. Во французском переводе эта статья появится в «Messenger Orthodoxe». Интересны отдельные замечания В. Н. Ильина о Флоренском, но статья страдает недостатком цельности. К тому же автору остались неизвестны недавно полученные более точные сведения об аресте и смерти о. П. Флоренского, скончавшегося на Соловках в декабре 1943 г.

РУССКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Русское Студенческое Христианское Движение за Рубежом имеет своей основной целью объединение верующей молодежи для служения Православной Церкви и привлечение к вере во Христа равнодушных к вере и неверующих. Оно стремится помочь своим членам выработать христианское мировоззрение и ставит своей задачей подготовить защитников Церкви и веры, способных вести борьбу с современным атеизмом и материализмом.

Р.С.Х.Д. утверждает свою неразрывную связь с Россией. Наша принадлежность к русскому народу и к Русской Православной Церкви налагает на нас духовные обязательства, независимо от того, мыслим ли мы себя временными изгнанниками-эмигрантами или решили связать свою жизнь с другой страной. Подлинная русская культура неотделима от Православия: поэтому в хранении и продолжении ее мы видим наш долг. Мы видим наш долг также в свидетельстве перед миром о подлинном лике России, в напоминании о страданиях русского народа.

СОДЕРЖАНИЕ

1970 год — Никита Струве	1
На Евангелие о Втором пришествии Христовом — Григорий Палама — перевод архим. Киприана (Керн)	3
Православное богословие в современном мире — прот. И. Мейендорф	13
Размышление над одним текстом — неизв. автора	31
Господь говорит человеку — из наставления иеросхимон. Серафима.	38
Памяти А. В. Тырковой-Вильямс — А. Борман	41
СУДЬБЫ РОССИИ	
К размышлениям об интеллектуальной свободе — свящ. С. Желудков	46
К отклику на письмо А. Белинкова — Г. П. Струве	58
Отклик на письмо А. Белинкова в Союз Сов. Писателей — неизвестн. автора	59
Наша короткая память — Н. Александров	62
Чорт догадал... — В. Вейдле	66
Суд истории - суд Божий — архим. Александр Семенов Тян-Шанский	71
Народ и власть — Г. Федотов	79
К вопросу изучения религиозности в Сов. России — Н. А. Теодорович	95
ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ	
Письмо Солженицыну — Б. К. Зайцев	97
Реакция писателей в свободных странах на исключение А. И. Солженицына из Союза Советских писателей — Пьер Эммануэль	99
А. И. Солженицын — великий писатель земли СССР — Р. Плетнев.	102
Из стихов последних лет — Наталия Горбаневская	112
Памяти Корнея Чуковского — Н. А. Струве	118
“Двенадцать” А. Блока — К. И. Чуковский	119
К. Чуковский об Анне Ахматовой	127
Письма К. Чуковского к парижским детям	128
МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ	
К 50-летию со дня смерти В. В. Розанова — Д. С. Дарский	131
МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ	
Преосв. Мануил Лемешевский (окончание) — неизв. автора	154
БИБЛИОГРАФИЯ	
Пути России, Д. П. Кончаловский — Пьер Паскаль	168
Смысл истории, Н. Бердяев — С. П. Жаба	170
Собачье сердце, Михаил Булгаков — Н. Струве	172
Христианство, атеизм и современность — П. Ковалевский	174
Церковь и Россия, О. В. Ключевский — П. К.	175
Обзор печати	
Вестник Русского Западно-Европейского Экзархата № 66	175
Возрождение № 215, 216 — 1969	176

СОДЕРЖАНИЕ
SOMMAIRE

	Pages
L'année 1970 — N. Struve	1
Grégoire Palamas : Homélie sur le Second Avènement — Traduction nouvelle de l'Archim. Cyprien Kern	3
La Théologie Orthodoxe dans le monde actuel — Jean Meyendorff	13
Réflexions sur un texte — Auteur anonyme soviétique	31
Le Seigneur parle à l'homme — Méditation d'un moine	38
A la mémoire de A.V. Tyrkova-Williams — A. Borman	41
LES DESTINEES DE LA RUSSIE	
Réponse aux réflexions de l'académicien Sakharov sur la liberté intellectuelle — Père S. Jéloudkov	46
Echo à la lettre de Bélinkov — Auteur anonyme (U.R.S.S.)	59
Notre mémoire est courte — N. Alexandrov (U.R.S.S.)	62
« Fallait-il que je naisse » — W. Weidlé	66
Jugement de l'histoire — Jugement de Dieu — Archim. A. Semenov	71
Le peuple et le pouvoir — G. Fédotov	79
La situation religieuse en U.R.S.S. — N. Théodorovitch	95
LITTERATURE ET VIE	
Lettre à Soljénitzine — Boris Zaïtzev	97
Réaction des écrivains occidentaux à l'expulsion de Soljénitzine de l'Union des Ecrivains de l'U.R.S.S. — Pierre Emmanuel	99
A.I. Soljénitzine, grand écrivain de l'U.R.S.S. — R. Pletnev	102
Poèmes de Nathalie Gorbanevski	112
In memoriam K. Tchoukovski — N. Struve	118
« Les douze » d'A. Blok — K. Tchoukovski	119
Souvenirs inédits de Tchoukovski sur A. Akhamatova	127
Lettres inédites de Tchoukovski à des enfants de Paris	128
DOCUMENTS SUR L'HISTOIRE DE LA CULTURE SPIRITUELLE RUSSE	
Pour le 50 anniversaire de la mort de V.V. Rozanov — D.S. Darsky	131
DOCUMENTS SUR L'HISTOIRE DE L'EGLISE RUSSE	
Un confesseur de la foi : Mgr Manuel Lemechevsky — (auteur inconnu)	154
BIBLIOGRAPHIE	
Les voies de la Russie. D.P. Kontchalovsky — (Pierre Pascal)	168
Le sens de l'histoire. N. Berdiaev — (S. Jaba)	170
Cœur de chien. M. Boulgakov — (N. Struve)	172
Christianisme, athéisme et monde moderne — P. Kovalevsky	174
L'Eglise et la Russie. O. Kloutchevski — (P. K.)	175
Revue de la Presse (N. Struve)	175

LES ÉDITEURS RÉUNIS

11, rue de la Montagne Ste-Geneviève, Paris-5^e, France

Tél. : 033-74-46 et 033-43-81

C. C. P. 13313-73 Paris

ПОСЛЕДНИЕ ИЗДАНИЯ YMCA-PRESS

	Фр.
Архим. Александр (Семенов Тянь-Шанский)	
— Пути Христовы	26,—
Православный Молитвослов, полный, гражданский шрифт	15,—
Бердяев — Миросозерцание Достоевского	15,—
Бердяев — Смысл истории (опыт философии челове- ческой судьбы)	18,90
Булгаков М. — Мастер и Маргарита (роман)	18,—
Булгаков М. — Собачье сердце (повесть)	15,—
Вейдле — Безымянная страна (книга о России)	15,—
Достоевский — Бесы (включая главу «у Тихона»)	40,—
«Из глубины» — сборник статей о русской революции.	30,—
Ключевский — Церковь и Россия (три лекции)	7,50
Кончаловский — Пути России	15,—
Осоргина — Пушкин и его творчество	17,—
Солженицын — В круге первом (роман), шрифт крупный	39,—
Солженицын — Раковый корпус (повесть), шрифт крупный	27,—
Солженицын — Матренин двор (рассказ)	3,50
Прот. Булгаков — Православие (очерки учения о Православной Церкви)	21,—
Архим. Киприан — Золотой век святоотеческой пись- менности	28,—
кн. Е. Трубецкой — Умозрение в красках (три очерка о русской иконе)	12,—
Федотов — Лицо России (статьи 1918-1931)	30,—
Франк — С нами Бог (три размышления)	25,—
Франк — Душа человека	25,—
Шестов — Умозрение и откровение (статьи)	25,—
Шестов — Sola fide — только верою	29,—
Христианство, атеизм и современность (статьи Бердя- ева, Франка, В. Ильина)	9,75
Юрьева — Уроки русской истории	12,—